
INSPIRIA
18+
ПУТЬ НА СЕВЕР
Shortlisted
The 2021 Booker Prize
Анук Арудпрагасам
в переводе Юлии Полещук

INSPIRIA

Путь на север

Анук Арудпрагасам

Аннотация
Анук Арудпрагасам. Путь на север
Известие
1
2
3
Путешествие
4
5
6
7
Сожжение
8
9
10
Благодарности
Об авторе

Аннотация

Роман вошел в шорт-лист Букеровской премии 2021 года! Одна из лучших книг года по версии журнала Time. Понравится любителям романов Викрама Сета, Арундати Рой, Дипы Аннапара.

Молодой шриланкиец Кришан едет на север страны, растерзанный гражданской войной, чтобы присутствовать на похоронах Рани, сиделки своей бабушки. Рани потеряла на войне двух сыновей и, так и не оправившись от пережитого, страдала от посттравматического стрессового расстройства. Была ли ее смерть несчастным случаем, самоубийством или убийством? Одновременно с известием о смерти Рани Кришан получает письмо от своей бывшей девушки, индийской активистки Анджум, которую он все еще любит.

Поездка Кришана одновременно и географическое путешествие — к усеянному пальмами ландшафту севера Шри-Ланки, и психологическое — к травме войны и собственному прошлому.

«Медитативный и созерцательный текст Анука Арудпрагасама через интроспекцию главного героя погружает читателя в историю гражданской войны, приобретая тем самым черты громкого политического высказывания». — Людмила Иванова, редактор

Анук Арудпрагасам
Путь на север

Anuk Arudpragasam
A PASSAGE NORTH
© Полещук Ю., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Известие

1

Мы полагаем, что настоящее пребудет с нами вовек — одна из немногих констант, которых у нас не отнять. Оно захлестывает нас в первые мучительные минуты, когда мы приходим в мир и тот пока что слишком нов для нас — ни приручить, ни преодолеть, — оно сопровождает нас в детстве и отрочестве, в ту пору, когда нас еще не тяготят ни память, ни ожидания, а оттого нам так грустно (и, пожалуй, тревожно) сознавать, что чем дальше, тем труднее прикоснуться к нему, пусть мельком, и даже бросить мимолетный взгляд, что ближе всего к настоящему мы лишь в те непродолжительные мгновения, когда не думаем ни о пространстве, которое занимают наши тела, ни о ведомом только нам тепле постели, где мы просыпаемся, ни о поцарапанном окне поезда, везущего нас куда-то, точно единственный способ остановить время заключается в том, чтобы помешать окружающим нас предметам перемещаться. Мы вдруг понимаем, что с течением лет настоящее ускользает от нас все больше, обнаруживает себя мимолетно и тут же теряет нас в непрерывном движении мира, а стоит нам

отвернуться, улетучивается почти без следа, — по крайней мере, так нам представляется намного позже, в следующий краткий миг осмысленности, в следующий раз, когда нам удается остановить мир, когда мы вдруг понимаем, сколько времени минуло с той поры, как мы в последний раз осознавали себя; когда мы понимаем, сколько дней, недель и месяцев пролетели без нашего на то согласия. Происходят события, меняются настроения и ситуации, появляются и исчезают люди, но, оглядываясь назад в те решительные минуты, когда нас по какой-то причине вырывают из ежедневных закольцованных грез наяву, мы не без удивления обнаруживаем себя там, где мы очутились, будто бы все это случилось в наше отсутствие, будто бы в то время, которое принято называть жизнью, мы были где-то еще. Просыпаясь каждое утро, мы вслед за нитью привычки двигаемся по кругу, из дома в люди, вечером в кровать, вслепую бредем привычной дорогой, день сменяется днем, неделя — неделей, и когда в разгар этого сна наяву что-нибудь происходит и пресекается нить, когда сильная страсть или неожиданная потеря прерывает ритм жизни, мы озираемся и с молчаливым удивлением отмечаем, что мир больше, нежели нам казалось, точно

у нас хитростью или обманом отняли это время — время, в котором, если вспомнить, и не было ничего важного, ни длительности, ни перемены, время, которое пришло и ушло, отчего-то нас не затронув.

Стоя перед окном своей комнаты, глядя сквозь запыленное стекло на пустующий соседний участок, поросший травой и бурьяном, на валяющиеся у ворот бутылки из-под арака, Кришан не мог отделаться от странного ощущения, будто его изгнали из времени, и пытался постичь смысл звонка, на который он только что ответил: этот звонок отменил все его планы на вечер сообщением, что Рани, бывшая сиделка его бабки, умерла. Кришан недавно вернулся с работы, из своей НКО, разулся, пошел наверх и, как всегда, обнаружил у двери комнаты бабку, ей не терпелось поделиться с ним мыслями, накопившимися за день. Бабка знала, что обычно он уходит с работы между пятью и половиной шестого и если направится сразу домой, то ждать его следует между без четверти шесть и четвертью седьмого — в зависимости от того, поедет ли он на автобусе, моторикше или пойдет пешком. Его своевременное возвращение было аксиомой в организации ее дня, и она требовала от внука соблюдать это

правило с такой строгостью, что, если Кришану случалось от него отступить, умилостивить бабку можно было лишь подробным объяснением — срочное совещание или аврал задержали его на работе дольше обычного, дороги перекрыли из-за какого-то митинга или шествия, — иными словами, убедить в том, что отступить от правил Кришана вынудили исключительные обстоятельства и что установленные ею у себя в комнате законы, по которым функционировал мир за пределами их дома, по-прежнему действуют. Кришан слушал бабкины рассуждения об одежде, которую нужно постирать, предположения о том, что его мать приготовит на ужин, планы поутру вымыть голову, дождался паузы в ее речи и отступил к себе, отговорившись тем, что вечером встречается с друзьями и желал бы чуть-чуть отдохнуть. Его нежданное дезертирство ранило бабку, он это знал, но весь день ждал возможности побыть одному, в тишине и покое обдумать письмо, полученное утром, первый имейл от Анджум за долгое время, первая с окончания их отношений предпринятая ею попытка узнать, что он делает и как поживает. Едва дочитав сообщение, он тут же закрыл браузер, подавил в себе желание изучить письмо,

всмотреться в каждое слово: Кришан понимал, что если позволит себе задуматься над письмом Анджум, то не успеет закончить работу, и лучше подождать до дома, где он уже беспрепятственно обо всем поразмыслит. Он еще немного побыл с бабкой — почуяв, что внук хочет уйти, она всегда забрасывала его вопросами, чтобы отсрочить, оттянуть его уход, — и проводил ее взглядом, когда она наконец неохотно удалилась к себе. Помедлив миг в коридоре, Кришан ушел в свою комнату и тщательно запер дверь, точно двойной поворот ключа в замке гарантировал ему желанное уединение. Он включил вентилятор, переоделся в чистую футболку и шорты, растянулся на кровати, изготовившись поразмыслить над письмом и над образами, которое оно вызвало в его сознании, и в эту минуту в коридоре зазвонил телефон, его настойчивый пронзительный звук вторгся сквозь дверь в комнату. Кришан сел на кровати, подождал в надежде, что телефон замолчит, но тот трезвонил не переставая; Кришан с раздражением встал и направился в коридор, порешив отделаться от звонившего как можно скорее и, если понадобится, даже грубо.

Звонившая, помявшись, представилась старшей дочерью Рани; Кришан не сразу понял, о

ком речь, и не только потому, что все его мысли занимало письмо, но и потому, что давно уже не вспоминал о Рани, бывшей бабкиной сиделке. Он не видел ее месяцев семь или восемь, с тех самых пор, как она отправилась на север, к себе в деревню — изначально предполагалось, дня на четыре-пять. Рани уехала организовать поминки в честь пятой годовщины смерти младшего сына, он погиб во время обстрела в предпоследний день войны; назавтра после поминок она должна была посетить скромную поминальную службу для близких, переживших, ее устраивали на месте последнего сражения, до него от деревни Рани было несколько часов езды на автобусе. Она позвонила через неделю, сообщила, что задержится еще немного, ей нужно заняться кое-какими неотложными делами; видимо, на поминки потратили больше, чем рассчитывали, и Рани необходимо съездить в деревню к дочери и зятю, чтобы лично обсудить с ними финансовые вопросы, однако это займет от силы день-два. Еще через две недели Рани вновь позвонила, сообщила, что заболела, идут дожди, она подхватила простуду, сказала им Рани, ей нужно несколько дней отлежаться перед долгой обратной дорогой. Как-то не верилось, что Рани — и вдруг слегла; правда, ей было уже без

малого шестьдесят, но она была такая дородная и высокая, что казалась исключительно здоровой и сильной, трудно было представить, что ее свалил с ног заурядный вирус. Кришан до сих пор помнил, как на прошлый Новый год они рано утром в саду варили кирибат [1] и один из кирпичей, на которых стоял наполненный до краев железный котел, вдруг выпал, котел накренился, а Рани, не раздумывая, согнулась, голыми руками подхватила обжигающе-горячий котел и, ничем не выдавая нетерпения, ждала, пока Кришан поправит кирпич, чтобы поставить котел на место. Вот они с матерью и решили: если Рани до сих пор не вернулась, то вовсе не потому, что слишком больна или слаба для обратной дороги; скорее всего, задержалась она оттого, что годовщина смерти сына и поминальная служба нарушили ее и без того шаткое душевное равновесие. Не желая обременять Рани, Кришан с матерью ответили ей: не беспокойтесь, оставайтесь сколько нужно, а как поправитесь, возвращайтесь. Здоровье

[1] Примечания: 1

Кирибат — традиционное блюдо Шри-Ланки, рис, сваренный в кокосовом молоке, подают в том числе и на праздновании сингало-тамильского Нового года, Алут Авуруду.

аппаммы [2] существенно поправилось, ей уже не требовался круглосуточный уход, так что какое-то время Кришан с матерью справятся сами. Но прошло еще три недели, от Рани ни слуху ни духу, Кришан с матерью несколько раз звонили ей, но трубку никто не брал, и они вынуждены были заключить, что ошиблись и Рани попросту не хочет возвращаться. Правда, их удивило, что она не удосужилась позвонить и сообщить им об этом, в подобных делах она всегда была очень щепетильна, но, по всей вероятности, ей надоело проводить все время вдвоем с аппаммой и потому не пришло в голову поставить их в известность. Рани день-деньской сидела в крохотной комнатенке, вынужденная терпеть бесконечный бубнеж аппаммы, она почти не выходила из дома — по крайней мере надолго, поскольку никого не знала и по-сингальски не говорила: вполне логично, рассудили Кришан с матерью, что, проведя в Коломбо без малого два года, Рани в итоге надумала уехать.

Мамы нет дома, сказал Кришан дочери Рани, она вернется часа через два, что ей передать, и дочь Рани, помолчав, ответила довольно сухо:

---

[2] Примечания: 2
Appamma — бабушка по отцу (*тамил.*).

передайте, что Рани умерла. Кришан не сразу нашелся с ответом, услышанные слова не укладывались в голове, но чуть погодя произнес: как, что случилось, когда? Вчера вечером, сообщила дочь Рани, после ужина, мама пошла за водой и упала в колодец, никто не знает, как так получилось. Минут через двадцать ее хватились, искали три четверти часа, наконец старшая дочь, внучка Рани, пошла к колодцу, наклонилась, заглянула внутрь и завизжала. Рани упала вниз головой и сломала шею — то ли во время падения ударилась о стенку колодца, то ли о дно: воды в колодце было от силы два фута. Но как она упала, спросил Кришан (и тут же понял, что вопрос получился бестактный и глупый), наверное, это был несчастный случай, уточнил он, дочь Рани ответила: конечно, несчастный случай, было темно, ничего не видно, мама, должно быть, споткнулась о край бетонного возвышения, на котором стоит колодец, а может, ей стало плохо, когда она набирала воду, вот она и упала, она в тот день жаловалась, что у нее болит и кружится голова. Дочь Рани сообщила все это как-то механически, точно случившееся ни капли ее не удивило и не потрясло, и умолкла, будто ей нечего больше было сказать. Кришан жаждал подробностей, но дочь Рани,

возможно, предупреждая расспросы, добавила: если получится, приезжайте на похороны, они в воскресенье днем. Я скажу маме, заверил Кришан, если получится, мы непременно приедем, и тут же осознал нелепость этого обещания — не столько потому, что не знал, искренне ли дочь Рани пригласила их или из вежливости, но и потому — он понял это, еще не успев ответить, — что ему до сих пор не верилось в произошедшее. Его подмывало расспросить подробнее, узнать, кто еще был там накануне вечером, не было ли днем каких-то тревожных признаков, — быть может, Рани говорила или делала что-то странное, быть может, у нее часто кружилась и болела голова; узнать, успела ли она поужинать и что было на ужин, — словом, выспросить все, пусть самое тривиальное, потому что в такие минуты нам всегда нужно больше фактов, не столько потому, что они так уж важны, а потому что без них нам не верится в случившееся, точно нам надо выведать все обстоятельства, связывающие произошедшее с так называемой реальной жизнью, дабы смириться с тем, что столь необычная смерть не противоречит законам природы. Смерти насильственные, скоропостижные пугали тем сильнее и смириться с ними было тем сложнее,

что они случались не только в зонах боевых действий, не только во время расовых беспорядков, но и в медленном, повседневном течении жизни, словно вероятность смерти таится даже в самых обычных делах, даже в самых заурядных, ничем не примечательных моментах. И неожиданно мелочи, которые при подведении итогов принято обходить молчанием, обретают колоссальное значение, будто нашу судьбу предопределяет то обстоятельство, забыли мы или нет засветло сходить за водой, успели бегом на автобус или решили не торопиться, приняли или нет любое из несметного множества тривиальных решений, и лишь впоследствии, когда нечто уже случилось и этого не изменишь, им приписывают особый смысл. Кришан не нашелся, о чем еще спросить, не показавшись бесчувственным или назойливо-любопытным, и, стремясь по возможности продлить разговор, спросил, далеко ли деревня от города Килиноччи и как туда лучше добраться. Ваша мама знает, ответила дочь Рани, из Килиноччи надо ехать на двух автобусах, а потом пешком или на рикше до самой деревни. Снова повисло молчание, Кришан не придумал, о чем еще спросить дочь Рани, и, почувствовав, что та больше не хочет или не может ничего добавить,

вынужден был попрощаться.

Он еще долго стоял у телефона — на том конце давно раздался щелчок, — и лишь услышав короткие, тревожно-пронзительные гудки, тоже положил трубку и вернулся к себе. Запер дверь, медленно подошел к кровати и сел на то же место, где сидел прежде. Взял мобильный, думая позвонить матери, сообщить новость, потом вспомнил, что занятия у нее заканчиваются в половине восьмого и до той поры она на звонок не ответит. Отложил телефон, обвел беспокойным взглядом комнату, безделушки на трюмо, рабочую одежду — та, вывернутая наизнанку, валялась на полу, — книги, вещи, DVD-диски, разбросанные на нетронутой кровати брата. Поднял с пола брюки, вывернул и аккуратно сложил на кровать. То же самое проделал с рубашкой, вновь оглядел комнату, встал, подошел к окну. Оперся ладонями на подоконник, легонько прижался лбом к решетке, посмотрел на балкон дома по ту сторону от пустого участка, на одежду, сушившуюся на веревках, на спутниковую тарелочку посреди потемневшей терракотовой крыши. Попытался думать о звонке и о том, что́ только что узнал, о смерти Рани и как это произошло, но услышанное по-прежнему не укладывалось у него в

голове и он не мог ни осмыслить случившееся, ни понять. Он чувствовал не столько грусть, сколько неловкость за то, что это известие застало его врасплох, в эгоистичных раздумьях о письме Анджум и раздражении оттого, что пришлось выслушивать бабку, точно, выдернув Кришана из обыденного сознания, звонок парадоксальным образом вынудил его думать не о Рани, а о себе, взглянуть на себя извне, увидеть со стороны ту жизнь, в которую он погружен. Он думал о том, как днем отреагировал на письмо, как подался к ноутбуку и, не двигаясь, уставился на экран, думал о молчаливом удивлении, с которым прочел письмо, и о сменившем его молчаливом предвкушении, которое он всеми силами постарался подавить, поскольку содержание письма ничуть не оправдывало это предвкушение. Письмо было коротенькое — три-четыре аккуратно составленные фразы, взвешенные, однако сдержанно-лиричные, фразы, призванные обнаружить не больше, но и не меньше, чем желала Анджум. Они очень мало что сообщали о ее жизни и очень мало что спрашивали о его — совершенно в манере Анджум, в ее манере не только писать, но и жить, хотя, пожалуй, подумал Кришан, она написала так мало лишь потому,

что не хотела навязываться ему без согласия, хотела предложить ему возможность общения, не обязывающую к содержательному ответу. Я провела пару недель в Бомбее, писала Анджум, ненадолго вырвалась в отпуск из Джаркханда (с тех пор, как они четыре года назад вместе были в Бомбее, Анджум впервые вернулась в этот город). Я гуляла по взморью, вспоминала, как мы с тобой в последний день путешествия гуляли там вдвоем, гадала, как у тебя дела и оправдало ли возвращение на Шри-Ланку твои ожидания. Порой я думаю о тебе, надеюсь, все у тебя хорошо и по прошествии времени тебе удалось отыскать в своем новом доме ответ на все твои устремления, именно так завершалось письмо, этим нечастым словом, «устремления», не парадоксально ли, что устремлениям полагалось найти ответ, — и подпись всего лишь из первой буквы имени.

Кришан едва ли не сразу отметил, что в письме ни словом не упомянуто ни о природе случайных мыслей о нем, ни о жизни Анджум в предшествующие годы, ни о том, нашла ли она, что искала, обосновавшись вместе с друзьями-активистами в джаркхандском захолустье, и что принесла ей такая жизнь — воплощение мечты или крушение иллюзий, удовлетворение или разочарование.

И непонятно, почему она решила ему написать: то ли оттого, что подводила некие итоги и размышляла о том, что могла бы — да, собственно, еще и может — пойти другим путем, или же из досужего любопытства, банального мимолетного интереса, какой нередко сохраняют к жизни бывших возлюбленных. Она писала так, будто они разошлись по взаимному согласию, будто каждый пошел своей дорогой, движимый собственными желаниями и прошлым; тем самым Анджум наделила его определенной свободой воли в отношениях, которой Кришан не обладал — и знал это. Уехать из Дели Анджум решила задолго до встречи с Кришаном, давно планировала обосноваться в Джаркханде с друзьями и прочими знакомыми активистами — «товарищами», как она без всякой иронии частенько их называла. Следовательно, тот факт, что их совместное время в Дели ограничено, был предопределен с самого начала, и Кришан с самого начала знал, что ему придется учитывать грядущее расставание и ожидать его. Он и сам до знакомства с Анджум вяло подумывал о том, чтобы уехать из Дели, бросить жизнь, которую выстроил там за несколько лет, бросить аспирантуру, куда не так давно поступил, вернуться на Шри-Ланку и вне-

сти свой вклад в послевоенное восстановление и переустройство. Война завершилась, но ему не давали покоя массовые убийства, творившиеся некогда на северо-востоке страны, его все больше и больше мучило чувство вины за то, что сам-то он уцелел, он с тоской думал о той жизни, которую мог бы вести, если бы оставил летаргическое, изолированное пространство науки, куда некогда удалился, и переехал жить и работать в те места, которые действительно что-то значили для него. Эта смутная тоска по воображаемому отечеству отступила на периферию его сознания после знакомства с Анджум, ради которой — Кришан понял это довольно скоро — он готов был отречься от прочих надежд и планов, до такой степени время, проведенное с нею, ни с чем не могло сравниться, до того не походило ни на что из бывшего прежде или потом. Когда они с Анджум сошлись, Кришан мечтал, что ей придет на ум изменить планы, включить его в свою новую жизнь или если она все же уедет, то хотя бы оставит ему доступ к этой новой жизни, но, как ни намекал ей Кришан на возможность совместного будущего, Анджум почти не реагировала, или отмалчивалась, или отвечала невпопад; то и другое подразумевало, что проект, за который

она возьмется, означает окончательный разрыв с прежней жизнью в Дели, а если она после отъезда продолжит отношения с Кришаном, разрыв этот окажется неполным.

Как ни парадоксально, его прежде смутное желание вернуться на родину наделили смыслом именно их отношения, не столько благодаря разговорам (Анджум не любила обсуждать с ним подробности своей работы), сколько благодаря примеру, который она воплощала собой, — примеру того, какой бывает жизнь, подчиненная социальным или политическим убеждениям. К его научным занятиям Анджум относилась не то чтобы свысока, однако не придавала им особого значения, и чем дольше он с нею общался, тем весомее ему казались собственные былые мысли оставить науку, тем серьезнее он задумывался о том, возможна ли и для него жизнь, подчиненная некоему идеалу коллективной деятельности. Незыблемая преданность Анджум защите прав женщин и трудящихся — чем, собственно, она и занималась в Дели — исподволь понудила Кришана проникнуться (едва ли не из самозащиты) чувством, будто и ему надлежит посвятить себя делу всеобъемлющему, важнее своей персоны; Кришан сознавал, что после отъезда Анджум он

будет не в силах остаться в Дели и, движимый нуждой доказать и ей, и себе, что и у него есть дело всей жизни, независимая судьба, которая выведет его куда-то, хоть с Анджум, хоть без нее, Кришан направил помыслы о будущем в новое русло — к жизни на северо-востоке Шри-Ланки. В некотором смысле это было наивно, ведь он понятия не имел, в чем заключается социальная работа в бывшей зоне военных действий, не обладал ни навыками, ни опытом, способными помочь ему в служении такого рода, но мысль о том, чтобы бесстрастно дожидаться надвигающегося отъезда Анджум, была настолько невыносима, что он вновь принялся крепить в себе чувство, будто судьба ведет его в те края, где он, по сути, никогда и не жил, принялся воображать, каково это — ступить на землю, по которой некогда ходили его предки, дабы создать почти что из руин вероятность некоего нового увлекательного будущего, словно, если он станет вести жизнь простую до такой степени, до какой упрощает ее лишь война, то отыщет нечто, чему стоит отдаться.

Странно осознавать, сколько всего изменилось за это время, думал Кришан, стоя возле окна, изменилось не резко или бесповоротно, а просто

с решением вернуться, с медленным накоплением времени, и ныне то место, которое некогда представлялось далеким, недостижимым, почти мифическим, уже неотделимо от него самого. Представления о северо-востоке, господствовавшие в его уме едва ли не всю жизнь, складывались из детских воспоминаний о коротких поездках в Тринкомали и Вавунию и более длительной поездке в Джаффну во время перемирия (Кришану тогда было лет семнадцать-восемнадцать), а еще из мучительно-ностальгических рассказов старших родственников, проживающих за границей, об идиллическом детстве в деревне. При мысли о северо-востоке Шри-Ланки ему рисовались бескрайние солончаки, пальмировые пальмы, медноцветные проселки Ванни, участки твердой сухой земли, занимающие бóльшую часть полуострова; пронзительные ритмичные религиозные напевы, в праздники доносящиеся из храмов, громкая, музыкальная, чистая, вольная тамильская речь. Эти образы наполняли его душу свободой, ощущением, будто возможна жизнь совершенно иная, отличная от его, но в то же время они обретали характер химеры, так что трудно было думать о них сколько-нибудь предметно; так известия, которые каждый день попадали в

газеты, — известия об обстрелах и вооруженных столкновениях, о наступлениях, отступлениях и перемириях — неизменно вызывали тревогу и интерес, но почти никогда не нарушали течения его жизни в южной части страны: белый шум, которому он с детства привык не придавать значения.

И лишь гораздо позже события на северо-востоке начали глубже проникать в систему его обыденной жизни — ближе к концу войны, году в 2008-м, 2009-м, когда впервые показалось, будто «Тигров» можно побороть, а с ними и идею тамилоязычного государства. Он тогда учился в Дели на последнем курсе бакалавриата, активно готовился к поступлению в магистратуру по политологии и порой, как ему помнится, дни напролет просиживал в библиотеке, пытался заниматься, но вместо занятий нервно обновлял в своем компьютере новостные сайты, тогда они у него были открыты все время. Поговаривали, будто военные убили множество мирных жителей; Кришан отлично знал, что правительственный отчет о гуманитарной спасательной операции на северо-востоке сфальсифицирован и нельзя доверять ничему, о чем пишут в газетах. Он часами штудировал в интернете материалы на англий-

ском и тамильском, читал страницу за страницей блоги, форумы, новостные сайты с фотографиями и видеороликами, сделанными в последние месяцы сражений, большинство этих сайтов создали тамилы-эмигранты, они выкладывали то, что уцелевшие ухитрились снять на камеру или смартфон и каким-то чудом переслать за рубеж. Интернет, понял Кришан, изобилует любительскими фотоархивами со всего света — свидетельствами недавних войн, каждая из которых казалась нескончаемой мешаниной безымянной жестокости, и после завершения войны он несколько месяцев на досуге изучал эти архивы, безучастно разглядывал распухшие трупы, отрезанные конечности, изуродованные тела, горящие палатки, кричащих детей: многие из этих образов с пугающей ясностью отпечатались в его памяти. Увидев однажды, их невозможно было забыть — и не только из-за сцен насилия, но и из-за вопиющего дилетантизма, поскольку, в отличие от глубоко эстетских, почти изысканных военных снимков, какие встречаются в журналах и книгах, композиция тех, что попадались ему в Сети, была настолько скверной, что это даже раздражало. Фотографии были расплывчатые, зернистые, откадрированы и сфокусированы

кое-как — на земле возле трупа валяется разорванный тюбик зубной пасты, старуха в ступоре отгоняет мух от раны на ноге — так, будто их делали на бегу или будто те, кто их делал, не желали смотреть на то, что снимали. Кришан не мог избавиться от ощущения, что эти снимки не предназначены для его глаз, что людей на них запечатлели в ситуации, в которой им совсем не хотелось, чтобы их увидели, и страх в их взглядах вызван не столько ужасом положения, сколько ужасом оттого, что их застигли в таком положении, подглядели их тайные муки; их взгляды наполняли его стыдом, и все же он не в силах был отвернуться.

Долгое время страх, внушенный этими снимками, таился в его душе, — болезненная действительность, которую он непрерывно подпитывал, но выразить не мог, точно не мог до конца понять, что именно изображено на них, и поверить в это. И только после того, как в 2011 году Четвертый канал выпустил документальный фильм [3], обвинявший правительство Шри-Ланки в военных преступлениях и геноциде, только после того, как

[3] Примечания: 3

Речь идет о фильме «Поля смерти Шри-Ланки» (“Sri Lanka’s Killing Fields”), показанном 14 июня 2011 года на британском телеканале Channel 4.

в том же году ООН опубликовала отчет о потерях среди мирного населения, он наконец сумел заговорить о случившемся, смириться с тем, что фотографии, не дававшие ему покоя, не какие-то странные извращенные творения его подсознания, что на них запечатлены события, действительно происходившие в той стране, откуда он родом. Он по сей день со стыдом вспоминал, как поначалу не желал признавать масштабы и значимость случившегося в конце войны, точно не решался поверить свидетельствам на экране своего компьютера потому лишь, что они исходили от его соплеменников, нищих, поруганных, лишившихся страны, точно неспособен был принять всерьез их страдания, пока те не подтвердит авторитетная коллегия западных специалистов и не легитимизирует в документальном фильме стоящий перед камерой гладковыбритый белый мужчина в костюме и галстуке. Как большинство его ровесников-тамилов, живущих за пределами зоны боевых действий, будь то в Коломбо, Ченнаи, Торонто или Париже, Кришан несколько раз пересмотрел фильм, перечитал отчет и продолжал выискивать все, что только можно, о событиях той поры, читал каждую статью и эссе, выходившие на английском и тамильском,

смотрел на Ютьюбе все интервью с выжившими, какие нашел. Первоначальное недоверие сменилось сперва потрясением, потом яростью, потом стыдом за собственное существование; в последующие месяцы из этого стыда родилось чувство нереальности происходящего, будто мир, в котором он жил в Дели, был отчасти иллюзией: его учеба в университете, будущие научные планы, протесты и демонстрации, на которые он ходил едва ли не для того лишь, чтобы приятно провести время, его друзья, любовницы, предметы его увлечений, — словом, все, что составляло его социальную жизнь. Казалось, никто из окружавших Кришана не понимал всей сути случившегося: даже в последний день войны жизнь в университете текла более-менее как обычно, студенты готовились к летней сессии, и это несоответствие происходившего вокруг и того, что творилось в его душе, крепнущее в нем ощущение, будто прежний мир — как Кришан его понимал — закончился, вселило в него чувство, что пространствам, в которых он обитает, недостает некоего насущного измерения действительности, что жизнь его в Дели в какой-то степени сон или галлюцинация. Видимо, диссонанс подобного рода, вдруг осознал Кришан, подталки-

вал столь многих тамилов, живущих за рубежом, к отчаянным поступкам; именно этот диссонанс вынудил того парня — его имени Кришан уже не помнил — в феврале 2009-го приехать из Лондона в Женеву и устроить самосожжение перед зданием ООН; именно этот диссонанс три месяца спустя заставил десятки тысячи протестующих (большинство из них — беженцы) собраться спонтанно на одном из крупнейших шоссе Торонто и перекрыть движение в целом городе, точно эти иммигранты-тамилы готовы были на что угодно, лишь бы вынудить чужеродное окружение, в котором они ныне существовали, столь далекое от северо-востока Шри-Ланки, остановиться хотя бы на миг, задуматься, заметить, что в тех краях, где они родились, сейчас останавливается самая жизнь человеческая.

Оттого ли, что Кришан осознал масштабы произошедшего, лишь когда все уже завершилось, когда ничего нельзя было сделать, оттого ли, что в Дели у него не было друзей-тамилов и не с кем было ни обсудить, ни осмыслить свои чувства, однако на окончание войны он откликнулся больше внутренне, чем внешне. Сейчас, вспоминая то время, он дивился молчаливой силе собственной реакции, нездоровому пылу, с которым он

погружался во все фотографии и видеоролики, какие сумел отыскать, рвению, с которым он пытался воспроизвести события, что, по счастью, обошли его стороной. Он принялся составлять мысленные хронологии переселения мирных жителей из деревень на северо-востоке, карты расположения больниц, атакованных правительственными войсками, мест, где было запрещено вести огонь — там-то и творилась самая жестокая резня, — изучал карты зон боевых действий, все, какие сумел отыскать, читал все, что удавалось найти об этих местах. Он старательно, по крупицам, добывал сведения, обращал внимание на то, какие типы снарядов использовали военные и с какими звуками падали эти снаряды, на погодные условия и состав почвы в различных местах массовых убийств, а те подробности, какие не мог проверить, угадывал или додумывал, и так дотошно рисовал в уме эти места, где творилось насилие, словно пытался каким-то образом там поселиться. Отчасти эти потуги мешались с ненавистью к себе — он это знал — и с желанием наказать себя за то, чего избежал (потому он и предавался этому занятию со всей яростью), но сейчас его вдруг осенило, что, пожалуй, в том безудержном стремлении понять обстоятель-

ства, при которых столь многие люди оказались стерты с лица земли, было нечто религиозное, точно посредством этой работы воображения он силился воздвигнуть сокровенное святилище памяти всех тех безымянных жизней.

Глядя в окно на пустое бескрайнее небо, еще золотистое, но уже в длинных лентах розовых облаков, Кришан вспомнил стихотворение, которое давным-давно прочел в «Перия-пуранам» [4], фрагменты этого эпоса подробно разбирали на школьных уроках литературы. В ту пору древняя тамильская литература Кришана не особенно интересовала и на уроках он чаще всего таращился в окно на крикетное поле, но история Пусала чем-то его зацепила. Согласно эпосу, Пусал был бедняк из глухой деревни, наделенный, однако же, пылкой верой. С юных лет он с любовью устремлял чувства и помыслы к Шиве, а когда повзрослел, принялся всеми силами подпитывать и крепить в себе эту инстинктивную любовь. Он долго раздумывал, чем почтить своего бога, говорилось в поэме, и в конце концов решив, что достойнее всего выстроить Шиве храм, где тот будет оби-

[4] Примечания: 4

«Перия-пуранам» (Великая Пурана) — тамильское поэтическое описание жизни 63 наянаров, канонических поэтов тамильского шиваизма, составленное в XII веке.

тать, с воодушевлением принялся подыскивать необходимый земельный участок и материалы. Несколько месяцев он рассматривал все возможности, обошел все деревни и городки в округе, встретился со всеми важными персонами, кого знал, но постепенно, после множества неудач, смекнул, что никогда не сумеет раздобыть средства на строительство храма, слишком он беден для того, чтобы послужить своему богу так, как хотелось бы. Отчаяние и уныние овладели Пусалом; некоторое время ему казалось, что надежды нет, но в один прекрасный день, раздумывая о своем положении, он вдруг сообразил: раз выстроить настоящий храм не получится, он воздвигнет его в своей душе. Ошеломленный очевидностью этой мысли, Пусал немедля принялся за дело. Сперва отыскал в уме подходящий участок земли, затем собрал в воображении необходимые материалы — от мельчайших инструментов самой изящной работы до тяжелейших каменных плит. Мысленно договорился с лучшими плотниками, каменщиками, ремесленниками, художниками и в урочный благоприятный день заложил с любовью и вниманием воображаемый краеугольный камень посередине участка — в соответствии со всеми условиями, описанными

в авторитетных источниках. С великим тщанием и предосторожностью он строил храм, даже не спал ночами, сперва завершил фундамент, дальше уровень за уровнем возводил стены, так что за считаные дни мысленный храм его обрел очертания — от залов и колонн до лепных украшений над дверями и цоколем. Когда все пилоны и сопутствующие святилища были готовы, когда вырыли резервуар и наполнили его водой, когда наконец воздвигли наружные стены, Пусал увенчал храм навершием, позаботился обо всех необходимых деталях, после чего, наконец, усталый, но удовлетворенный плодами своих трудов, выбрал благоприятное время для освящения храма во имя Шивы.

В произведении говорится, что царь тех земель в то же самое время заканчивал строительство храма, который он сам воздвиг в честь Шивы, и так вышло, что для освящения царь выбрал тот же благоприятный день и час, что и Пусал. Царский храм отличался невиданными размерами, его строили много лет, не считаясь с расходами, но в ночь перед тем, как туда должны были водворить образ Шивы, рассказывает поэма, царю во сне явился Шива и сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии, что ее придется

отложить, поскольку бог решил посетить освящение великого храма, который воздвиг в его честь некто Пусал, его преданный почитатель из далекой деревни Нинравур. Проснувшись наутро, царь никак не мог поверить, что бог предпочел храм, выстроенный простецом, тем чертогам, которые воздвиг Шиве царь. Он немедля со свитою отправился в Нинравур, и когда через много дней пути они наконец приблизились к густым рощам близ деревни, царь приказал местным жителям отвести его к храму, который построил Пусал. Такой здесь живет, ответили царю сельчане, но он человек бедный и никакого храма не строил. Царя известие озадачило, однако он все же велел проводить его к Пусалу; спешившись перед его скромной хижиной из уважения к почитателю Шивы, царь вошел к Пусалу и увидел истощенного человека, тот сидел в позе лотоса на полу, закрыв глаза и пребывая в блаженном неведении относительно происходящего. Царь окликнул Пусала, спросил, где его храм, тот самый, который расхваливает весь свет, он-де приехал увидеть его, потому что сам бог Шива сообщил ему, что сегодня в храме поместят его образ. Пусал недоуменно раскрыл глаза и изумленно признал в человеке, обращавшемся к нему, царя. Пусал

смиренно признался, что, не имея средств на строительство настоящего храма, он старательно воздвиг его в своей душе; царь подивился преданности человека, который, не имея денег, все-таки ухитрился почтить своего бога, и пал ниц, восхваляя Пусала, так что венки из благоуханных цветов на шее царя припорошила пыль.

Сейчас, стоя в своей комнате, Кришан едва ли сумел бы ответить, насколько это стихотворение, прочитанное столь давно, повлияло на его отношение к происходившему на войне, однако вдруг осознал, что строение, которое с таким тщанием возводил в своей душе Пусал, не так уж и отличается от того, которое выстроил он сам, Кришан, за те месяцы и даже годы, что прошли с окончания войны. Он ведь тоже в каком-то смысле оставил мир, окружавший его, чтобы вместо него возделать в сердце своем некий участок, и хотя время, проведенное на этом участке, принесло ему больше мук, нежели наслаждения, и хотя двигали им в равной мере стыд и любовь, он все же надеялся, что предмет его размышлений, страдания его отчасти реального, отчасти виртуального сообщества, посредством его трудов получат признание, которого не получили в реальном мире. Размышляя о том, как в первые

месяцы после возвращения на остров работал на северо-востоке, Кришан вспоминал сопровождавшее его отчетливое ощущение, будто он наконец физически попал в те края, которые сам же и выдумал, ощущение, будто он не столько ступает по твердой почве, сколько скитается по задворкам собственного сознания. В Джаффне он устроился в маленькую местную НКО, с финансированием в организации было туго, заработанного едва хватало на жизнь; когда Кришан разъезжал по разбитым дорогам меж разбомбленными селеньями, блестевшими рифленым железом и алюминием хижин-времянок, под ожесточенными взглядами мужчин, уже не способных никого защитить, под усталыми взглядами женщин — ныне они в одиночку несли ответственность за продолжение жизни, — ему представлялось, будто сцены насилия, которые он некогда вызвал в воображении, накладывались на все, что он видел. Последние снаряды упали давным-давно, и давным-давно погребли последние трупы, но настроение и характер тех давних зверств до такой степени пропитали места, куда он ездил, что на северо-востоке у Кришана менялась даже походка: он двигался со сдержанным почтением, точно на кладбище или месте кремации. Порой

перед ним мелькали образы красоты и простоты, напоминавшие о той, другой жизни — как весело смеялись две девочки, утром катившие в школу на велосипеде, как беззаботно в сгущавшихся сумерках расплескивал воду старик, набиравший ее из колодца, — и, наблюдая повсюду следы бесчинств последних лет войны вместе с видениями возможного будущего, Кришан отдавался работе с пылким, целенаправленным усердием.

За годы, проведенные на северо-востоке, он стал менее рассеянным, более основательным, сильнее привязался и к этой земле, и к людям, которых прежде видел преимущественно на экранах, постепенно проникся цикличными ритмами сельской жизни, где время, казалось, никуда не идет, а лишь движется по кругу, возвращается, повторяется, возвращаясь к себе. Кришан мечтал стать частью решительных перемен, своего рода подъема или расцвета после всей боли и скорби, но месяцы превратились в год, а год превратился в два, и он осознал, что мечты его не исполнятся, что жестокость определенного свойства так глубоко проникает в душу, что о полном исцелении не может быть и речи. На исцеление потребуются десятки лет, но даже тогда оно будет сомнительным, частичным, и

если он действительно хочет быть сколько-нибудь полезным, ему надо выучиться приносить пользу так, чтобы в длительной перспективе не выгореть самому и не отрекаться ради этой пользы от собственных нужд. Постепенно его изначальный пыл и целеустремленность охладели, он все чаще проводил выходные в Коломбо, по два, а то и по три раза в месяц проделывал семичасовой путь до дома. С тех пор как закончилась война, город изменился до неузнаваемости, вывески магазинов и электронные рекламные щиты заливали ярким светом его расширившиеся улицы, окоем заполонили очертания фешенебельных отелей и роскошных многоэтажек, новые кафе и рестораны кишели людьми, которых Кришан не знал и не понимал. Он с горечью отмечал совершившиеся перемены, словно неожиданная современность города была тесно связана с разгромом на северо-востоке, однако его неудержимо влекли простые развлечения, которые, казалось, предлагала жизнь в большом городе, и когда в одной из больших иностранных НКО в Коломбо открылась вакансия — нужно было заниматься преимущественно бумажной работой, заявлениями и отчетами, но платили за это неплохо, — Кришан рассудил, что пора

возвращаться, не так чтобы надолго, сказал он себе, исключительно подкопить денег и решить, как быть дальше. Жизнь его с матерью и бабкой быстро вошла в колею, хоть он и отсутствовал дома без малого десять лет, прежние привычки и порядки возвратились, но к ним прибавилась и взрослая свобода, на досуге он встречался со старыми друзьями и новыми знакомыми, случайными или потенциальными любовницами, читал и смотрел фильмы. Эти скромные, однако пестрые удовольствия отвлекали его на время, но все же есть разница между тем удовольствием, что успокаивает и усыпляет, и тем, что шире, живее вовлекает нас в жизнь, и теперь, стоя возле окна, Кришан думал о своем возвращении в Коломбо и понимал, что за этот год утратил кое-что очень важное — не покидавшее его с двадцати до тридцати лет ощущение, что жизнь его может быть частью чего-то большего, какого-то движения или идеи, которой он может отдать себя целиком.

Он отвернулся от окна, обвел взглядом комнату, ту самую комнату, в которой они прежде жили вместе с младшим братом и которая в последние годы, с тех пор как брат перебрался за границу, оказалась в полном распоряжении Кришана.

Комнату по-прежнему заливало теплое сияние раннего вечера, но луч света, проникавший в окно, уже переместился по полу, следовательно, Кришан простоял у окна довольно долго. Он вспомнил, что звонила дочь Рани, и осознал, что, вернувшись в комнату, думал исключительно о себе и ни на шаг не приблизился к тому, чтобы осмыслить смерть Рани, точно пытался уклониться от того, что недавно узнал. Кришан подошел к туалетному столику, взял свой телефон и, поколебавшись, набрал номер матери. Ее уроки еще не закончились, но он надеялся, что мать все же ответит и, передав ей известие, он сам, быть может, полнее осознает его смысл. Гудки сменились автоматическим сообщением телефонной сети — абонент недоступен, — Кришан нажал отбой, вспомнил о бабке: она, скорее всего, сидит у себя без дела. Он еще не сказал ей о звонке: наверное, нужно пойти и поставить ее в известность. Эта новость, без сомнения, ее огорчит, но она не из тех, кого чужая смерть способна вывести из равновесия, бабка, скорее всего, даже обрадуется, узнав о случившемся, это встряхнет ее, взбудоражит: так даже мучительные события скрашивают жизнь тех, кому толком нечем заняться. Хоть с кем-то поговорю, с облегчением

подумал Кришан, — с единственным человеком, который, как ни странно, всегда готов поговорить со мной, — и с этой мыслью он подошел к двери, повернул ключ в замке, вышел в коридор и сделал четыре шага до комнаты бабки. Но когда он взялся за ручку двери, его одолели сомнения: он вдруг осознал, что, пожалуй, сообщить обо всем бабке — не самое мудрое решение. Ведь смерть Рани сильнее всего ударит именно по аппамме, это аппамма полтора с лишним года жила с ней в одной комнате; пожалуй, разумнее вообще ничего ей не рассказывать, пусть и дальше живет, не зная, что Рани упала в колодец и умерла. Кришан застыл у двери, ему хотелось войти, поговорить с бабкой, но он не знал, стоит ли это делать, наконец его потянуло заглянуть в комнату, точно, увидев бабку, он поймет, как правильно поступить; он выпустил ручку двери, встал на колени, закрыл левый глаз, правый прищурил и заглянул в замочную скважину.

2

Прямо напротив двери аппаммы, возле окна, стояло кресло, и, заглянув в комнату, Кришан увидел бабку, она сидела в кресле, спиной к Кришану, чуть подавшись вперед, положив руки на подлокотники и вытянув ноги на пуфик: бабка считала, что держать ноги в горизонтальном положении полезно для кровообращения. Голова ее клонилась набок и чуть вперед, точно бабка разглядывала свои колени, время от времени она встряхивала головой, словно бы удивившись чему-то, и вновь ее опускала. Бабка уснула, понял Кришан, глядя в замочную скважину. Не то чтобы такое случалось редко, учитывая, что по ночам бабка спала плохо, порой раза четыре или пять вставала в туалет, однако Кришан никак не рассчитывал и не ожидал, что бабка уснет сейчас, поскольку по вечерам она, как правило, бодрствовала. Засыпала она обычно после полудня, когда, лежа в кровати, смотрела по телевизору кино; порою — впрочем, очень редко — задремывала и до полудня, сидя в кресле и дожидаясь, пока ей принесут завтрак. Бабка не любила, чтобы днем ее заставали спящей, и Кришан это знал

— особенно если было ясно, что вообще-то спать она не собиралась. То, что бабка уснула случайно, означало, что она не вполне контролирует свое тело, что порой ее тело вытворяет что ему заблагорассудится, не считаясь с ее желаниями, а бабка не могла допустить, чтобы о ней так думали. Если же ей случалось, очнувшись от сна, обнаружить, что к ней в комнату кто-то зашел, она решительно отрицала, что спала, хотя ее ни о чем не спрашивали и ни словом не возражали: я отдыхала с закрытыми глазами, — упрямилась бабка, — наслаждалась ветерком, пусть даже только что рот ее был открыт и храп разносился по коридору. Не видя причины задевать бабкино самолюбие, Кришан старался в такие минуты не приближаться к ней, а если ему требовалось зачем-нибудь ее разбудить, приучился шуметь, прежде чем войти в комнату, громко стучать в дверь, притворяться, будто чихнул, чтобы бабка успела подготовиться к его появлению. Отчасти он прибегал к этим мерам для того, чтобы не смутить и не обеспокоить бабку, чтобы ей не пришлось убеждать его, будто она и не спала, но главным образом потому, что его смущала бабкина готовность так примитивно врать, дабы убедить его в своем добром здравии. Правда, по-

чти все люди лгут, чтобы сохранить в сознании определенный образ себя, но ведь прочие лгут искусно, не обнаруживая неуверенности в себе, служившей причиной лжи, его же бабка лгала так, что было понятно: она теперь способна лишь на самые прозрачные попытки сохранить предпочтительный образ себя и этою ложью выдает себя куда больше, чем если бы просто молчала.

Кришан отстранился от замочной скважины. Он не желал будить бабку и уже сомневался, стоит ли сообщать ей о смерти Рани или хотя бы на время лучше оставить ее в неведении. Возвращаться в безмолвие своей комнаты ему тоже не улыбалось; им вдруг овладело стремление оказаться как можно дальше от дома, и он решил пройтись, рассчитывая, что прогулка на свежем воздухе и выкуренная сигарета помогут собраться с мыслями. Кришан направился к себе в комнату, переоделся в брюки, сунул в карман зажигалку и пачку сигарет, мобильный оставил на столе и спустился на первый этаж. Выйдя из дома, он без особого облегчения отметил, что на улице еще относительно светло, небо по-прежнему голубое — бледное, невесомое, — закрыл за собой калитку и стремительно зашагал прочь. Миновал соседние дома, строительную площадку

— рабочие уже завершали дневные труды, из импровизированной душевой в цокольном этаже слышался шум воды, — в конце переулка свернул налево и направился к Марин-драйв. Мимо него в обе стороны тянулась нескончаемая вереница фургонов и легковых автомобилей, за шоссе мерцало бескрайнее море; завидев просвет в потоке машин, Кришан перешел дорогу и устремился на юг по тротуару между шоссе и железнодорожными путями — правда, время от времени тротуар исчезал. Кришан достал из кармана зажигалку, большим пальцем провел по колесику, рассеянно огляделся на ходу, посмотрел на рикшу с изображением Будды на заднем стекле, концентрические круги разноцветных светодиодных лампочек создавали иллюзию нимба, вращающегося вокруг его головы, посмотрел на старуху-мусульманку, с трудом поспевавшую за маленьким мальчиком и девочкой, очевидно внуками, они тянули ее за руки. Легковушки, фургоны, рикши по-прежнему мчались мимо Кришана в обе стороны, точно стремились убежать от сумерек, встречные прохожие тоже, казалось, целиком погружены в раздумья о том месте, куда идут, усталые работники из пригородов торопились на вокзал, чтобы сесть на ближайший поезд,

пожилые мужчины и женщины в футболках и спортивных костюмах совершали вечерний моцион, энергично шагали к воображаемой цели. После домашнего покоя Кришан не сразу вошел в ритм, не сразу приспособился к шуму и движению города, чтобы достичь возможного равновесия, но чем дальше он уходил от дома, тем спокойнее у него становилось на душе, тем расслабленнее и ровнее делалась его походка, когда он шел привычной дорогой.

За последние месяцы пешие прогулки нежданно вошли у него в привычку — один из немногих действенных способов унять внутренний непокой, овладевавший им вечером по возвращении с работы. В первое время в Коломбо его еще увлекали соблазны большого города, возможность вечером выйти куда-то с друзьями, выпить, выкурить косячок, побыть беззаботным и безрассудным, встретиться с симпатичными особами, с которыми можно пофлиртовать. Все эти действия сообщали его времени структуру и ход, внушали предвкушение встречи, которая, быть может, изменит его жизнь, но оттого ли, что знакомства в Коломбо редко по-настоящему трогали его как интеллектуально, так и в смысле политики или романтики, оттого ли, что теперь

вещи, в юности так увлекавшие и возбуждавшие, ныне уже не имели на него былого влияния, но желания, побудившие его возвратиться в столицу, и скоротечные удовольствия, которые они сулили, вскоре показались ему ложными, точно они лишь сбивали с толку, отвлекали от нехватки более насущного. Прежде ему было приятно проводить время в одиночестве, это утешало его за все претензии и разочарования в жизни — нежная забота, получить которую можно было, попросту углубившись в себя, — но всякий раз, как он оказывался вечером дома один, им овладевало молчаливое беспокойство, он слонялся по комнате, убивал время в интернете, пытался читать книги, которые давно собирался прочесть. Он боролся как мог, даже если для этого требовалось пойти к бабке и выслушивать ее разглагольствования о том, как надоели ей комары, лезут и лезут к ней в комнату, что ни делай, но в душе его все равно таилась тревога, росла непрестанно днями и вечерами и достигала пика в последние угасающие мгновения дня, когда солнце садилось и изжелта-золотистый свет вдруг резко сменялся сперва розовым, потом лиловым и наконец вечернею синевой — от светлой до темной. Было в сумерках нечто такое,

что усиливало тревогу, поднимало ее на поверхность его сознания, делало осязаемой, точно по мере того, как горизонт постепенно скрывался из виду, последние надежды и обещания дня тоже скрывались из виду, еще один день миновал, не заявив о себе.

Он уходил из дома задолго до того, как небо начинало темнеть, специально шагал размеренно, не спеша, чтобы успокоиться, вначале выбирал длинные извилистые маршруты в разных частях города — из желания познакомиться с его значительно переменившейся топографией. Но сколько бы Кришан ни ходил разными дорогами, ему по-прежнему было неуютно среди новых вывесок и фасадов — признаков новой траектории развития, не находившей отклика в его душе; постепенно Кришан ограничил прогулки жилыми кварталами неподалеку от дома, многочисленными узкими и ухабистыми улочками и переулками Веллаватты и Дехивалы, районов, где в юности он почти не бывал из-за войны, из-за военных блокпостов через каждые сто метров и непрестанной угрозы, что тебя задержат и допросят. Он проходил мимо ветхих домишек, большинство жилые, часть переделали в офисы и салоны, проходил новые многоэтажки, заселенные пре-

имущественно мусульманами и тамилами, и, размышляя о тяжести жизни, которую вмещали все эти здания, чувствовал, как ему становится легче, словно бы, шаг за шагом удаляясь от дома, он оставлял позади обременительную и ненужную часть себя. Он по-прежнему наблюдал разительные перемены, совершавшиеся в небе, но отчего-то вне дома, в непосредственной близости от этих перемен, вынести их было проще, точно на свежем воздухе, за пределами четырех стен, пола и потолка, нечто тяготившее его душу рассеивалось, рассредоточивалось. Вслушиваясь в слабый плеск волн о прибрежные камни, в хлопанье птичьих крыл на порывистом теплом ветру, он понемногу успокаивался, и настоящее из пустоты превращалось, пусть ненадолго, в место, где ему уютно и безопасно. Немного есть настроений, которые не меняются, когда и земля, и небо перед нами как на ладони, и даже самые глубоко укоренившиеся настроения из тех, что не покидают нас целый день и упрямо таятся в груди, невзирая на все противоречивые чувства, с которыми нам приходится сталкиваться на людях, даже эти настроения медленно тают, столкнувшись с безбрежностью горизонта: в такие минуты чувствуешь если не радость и

удовольствие, так хотя бы умиротворение от недолгого внутреннего угасания. Возвращаясь с этих прогулок в замкнутые пространства своего дома и комнаты, Кришан обычно так уставал, что уже не ощущал тревоги, прогнавшей его из дома; соленый от пота и морского бриза, он ложился на кровать — икры и бедра приятно ныли, — облекался в кокон изнеможения и вставал только в половину девятого, когда приходило время сходить вниз за ужином и принести его наверх, в комнату бабки, когда уже стемнело и самая трудная пора дня, переход от вечера к ночи, полностью завершилась.

Он снова начал курить именно во время этих прогулок, поначалу лишь потому, что сигарета, выкуренная на полпути, придавала его бесцельным блужданьям подобие смысла, ощущение, что он не скитается оттого лишь, что ему нечего делать и некуда пойти. В Индии, в университете, он покуривал время от времени, большинство его друзей тоже курили, но всерьез пристрастился к курению лишь позже, когда начал проводить время с Анджум, она курила часто и элегантно, и Кришан поймал себя на том, что невольно ей подражает. Перебравшись на северо-восток, он оставил эту привычку — главным образом

потому, что на курильщиков в той среде, где ему довелось работать, смотрели косо, — хотя, быть может (теперь он это осознавал), он бросил курить отчасти из-за Анджум, в целом стремясь дистанцироваться от нее после того, как их пути разошлись, уничтожить не только многочисленные следы их связи, сохранившиеся в его телефоне и компьютере, но жесты и фразы, которые перенял за то время, что они провели вместе: многие по-прежнему давали о себе знать, как он ни старался от них избавиться. До возвращения в Коломбо его не тянуло вновь закурить — не хотелось прибегать к ухищрениям, чтобы скрыть эту привычку от матери (раз уж он теперь жил дома), — и только если ему случалось выпить, стрелял сигареты или взрывал косяки с друзьями. Окончательно к этой привычке он вернулся два месяца назад, когда во время очередной прогулки зашел в магазинчик за какао; человек перед ним купил поштучно три сигареты, заплатил и с таким самодовольным видом забрал их с прилавка, что Кришан поневоле задался вопросом: что мешает мне сделать так же? Когда подошла его очередь, он купил одну сигарету и коробок спичек, убрал сигарету в нагрудный карман рубашки, по пути то и дело доставал ее, подносил

к носу и жадно вдыхал аромат табака. Присев на корточки на углу пустынного переулка, чиркнул спичкой, осторожно поднес пламя к кончику сигареты, наслаждаясь каждым движением — тем, как щелчком указательного пальца стряхивал пепел с сигареты, как неспешно подносил ее к губам, медленно затягивался, слушая, как горит бумага, выдыхал дым и смотрел, как он тает в воздухе. И в каждую следующую прогулку он на полпути выкуривал сигарету, вскоре покупал уже не одну, а две: одну чтобы выкурить сразу, другую перед сном, аккуратно нес дополнительную сигарету в кармане рубашки, прикладывая все усилия к тому, чтобы она не испачкалась и не помялась, а перед сном выходил на балкон — в доме уже все спали, — молча курил и глядел на звезды. В последующие недели число выкуренных сигарет стремительно увеличивалось, и вскоре он уже покупал пачку, а не поштучно, а спички сменил на зажигалку. Курение стало для него своего рода времяпрепровождением, ритуалом, которого он ждал с нетерпением, оно примиряло его с настоящим, даже когда он не курил: ведь следом за настоящим наступит время получше. В отличие от перспективы сходить куда-нибудь вечерком, порождавшей чаяния и надежды, в

конечном счете оказывавшиеся иллюзорными, удовольствие от выкуренной сигареты, пусть скромное, было осязаемым, настоящим, равным себе, оно не давало ложных обещаний, и Кришан сознавал, что вправе рассчитывать на него, пока у него не закончатся сигареты. По вечерам он по-прежнему ходил развлекаться, пытался заводить новые знакомства, но курение помогало ему принять, что жизнь такая, какая есть, помогало открыть для себя настоящее, делало настоящее обширнее и терпимее, так что, даже если ни одна из его надежд на вечер не оправдывалась, он, возвращаясь домой, всегда утешался мыслью о том, что последняя сигарета перед сном никуда от него не денется.

Кришан поднял глаза и заметил, что подошел к одному из своих излюбленных мест для курения — он выбрал его, потому что здесь можно было посидеть у моря, скрывшись от глаз пешеходов. Кришан повернул направо, поднялся по травянистому косогору к железнодорожному полотну, остановился, чтобы убедиться, что поезд не идет — в новостях, что ни месяц, сообщали о том, как поезд в очередной раз сбил пешехода или велосипедиста, — и перешел через рельсы. Спустился к узкой полоске камней, образовывавшей границу

между сушей и морем, отыскал относительно незамусоренный пятачок, достал сигареты, зажигалку и устроился на камнях. Поодаль, по правую руку, сидела юная парочка, тела их не соприкасались, но головы клонились друг к другу, точно парочка секретничала; слева, вдали, на камнях возле самой воды, маячили рыбаки в лохмотьях, то показывались, то исчезали в густых облаках водяной пыли. Кришан повернулся, взглянул на серебристо-серое море, невозмутимо простиравшееся перед ним, на золотисто-серое небо в лучах закатного солнца, балдахином зависшего над горизонтом. Достал из пачки сигарету, медленно покрутил в пальцах, точно дивясь ее хрупкости, отвернулся от моря, согнулся, прикрывая огонек зажигалки от ветра, закурил и сделал первую долгую затяжку. Он старательно устремлял помыслы к Рани, к неожиданной и немного нелепой природе ее кончины, к поразительно механическому тону, каким ее дочь рассказывала по телефону о случившемся, но поймал себя на том, что по какой-то причине думает не столько о Рани или ее дочери, сколько об увиденном в замочную скважину бабкиной двери, о бабке, которая, сама того не ведая, так беззащитно уснула. Трудно сказать, отчего это зрелище задело его за живое, ведь

были и более насущные темы для размышлений — но, глядя сейчас на воду, простиравшуюся от камней возле его ног, скользя взглядом по колышущейся серой поверхности, он мог думать лишь об уязвимости, которую излучала спящая бабка, уязвимости в общем-то очевидной, но которая тем не менее застала его врасплох, точно все это время он не замечал ее реального состояния или сам был причастен к тому, чтобы его утаить.

Разумеется, бабка задолго до его рождения уже тяготела к затворничеству, но событие, побудившее Кришана осознать неизбежную траекторию ее образа жизни — он это запомнил, — событие, наглядно показавшее ему, что бабка не вечна, приключилось, когда ему было лет двенадцать-тринадцать; бабке в ту пору было лет семьдесят. В тот день она работала в саду — так она рассказывала им впоследствии, — выпалывала сорняки в углу, где рассчитывала посадить горькую тыкву. Работа не то чтобы трудная, но, поднимаясь потом по лестнице, бабка почувствовала, что задыхается; она пошла к себе, села в кресло, но одышка усилилась, вскоре бабку пробрала дрожь, исходившая, казалось, из самой груди. Бабку немедля отвезли в больницу, сразу же сделали ряд анализов, и выяснилось, что у нее закупорена

артерия рядом с сердцем. То есть, строго говоря, это был не инфаркт и не инсульт, заключили врачи, но есть угроза обоих, и желательно сделать так называемое коронарное шунтирование, в ходе этой операции бабке вырежут вену, которая идет на правой ноге от щиколотки к икре, и заменят ею больную артерию близ сердца. Из последующих дней Кришану больше всего запомнилось собственное изумление оттого, что бабка так легко смирилась с происходящим, так охотно вверила свой организм окружавшим ее врачам и медсестрам. Вернувшись домой — после операции ее две недели продержали в больнице под наблюдением врачей — явно выздоровевшая и польщенная щедро оказанным ей вниманием, она ничем не выдавала, что события прошедшего месяца стали для нее чем-то большим, нежели краткий, приятно-бодрящий перерыв в обыденном существовании. С нескрываемым удовольствием бабка делилась со всеми родственниками, навещавшими ее в последующие дни, впечатлениями о случившемся, начиная с одышки и дрожи и до выписки три недели спустя, подробно отчитывалась о качестве больничных блюд, которыми ее кормили, под конец приподнимала сари и демонстрировала шрам на правой

ноге, точно в доказательство, что все описанные ею события действительно произошли и она ничего не выдумала на потеху слушателям.

В ту пору Кришан вечерами приходил к бабке в комнату поболтать перед сном и теперь вспоминал — со дня операции проходили недели, затем и месяцы, — что волнение и тревога в конце концов растворились в повседневных заботах, но во время его вечерних визитов аппамма все чаще говорила о своем здоровье. До известной степени она всегда говорила о своем здоровье, но теперь каждый разговор с нею неизменно сводился к этой теме. Кришан заходил к ней в комнату, аппамма выключала свет — около девяти, по окончании последней телепередачи, которые она обычно смотрела, — он укладывался в темноте рядом с бабкой и слушал, как она рассуждает о том, сколько она сегодня для моциона ходила по коридору и что она до сих пор сама стирает и готовит, а следовательно, крепче многих своих ровесниц, и как медработники при первой встрече неизменно дивились, когда она называла свой возраст, и как один повторял: вы выглядите гораздо моложе других семидесятилетних. Время от времени Кришан вставлял слово — либо для того, чтобы показать бабке, что он слушает, либо

если ей требовалось подтверждение или согласие с чем-то сказанным ею, но чаще всего он молчал, почуяв в манере ее рассказа нечто такое, отчего не решался переменить тему или перебить бабку, своего рода исповедальность в ее голосе и комнате, словно бы то, чем бабка делилась с ним, она никому другому и не открыла бы, некий страх или тревогу: напрямую она нипочем бы в них не призналась, но когда они лежали рядышком в темноте, не видя лица друг друга, Кришан чувствовал их в ее теле. В слова этот страх и тревогу бабка облекала крайне редко и далеко не сразу, лишь установив, к своему удовольствию, что она здорова, как прежде, хоть ей и понадобилась операция — бабка ее считала всего лишь мерой предосторожности. В такие минуты бабка понижала голос, точно намеревалась сообщить мимоходом сущий пустяк, и заявляла, что, пока она в состоянии себя обслужить, все у нее в порядке, единственное, чего ей не хочется, — стать беспомощной, неспособной самостоятельно ходить, одеваться, мыться, оказаться прикованной к кровати, превратиться в помеху и обузу для прочих. Поначалу Кришан отмалчивался, не зная, как отвечать на такие признания, но, обвыкнувшись с ними, научился говорить бабке, что

она неправа, никому она не будет ни помехой, ни обузой, что он уж точно будет ухаживать за ней с радостью, а не просто из чувства долга. Она ценила такие ответы, но оставляла без внимания, предпочитая сосредоточиться на том, что она, быть может, никогда и не станет беспомощной, обездвиженной, прикованной к кровати, всегда сумеет о себе позаботиться, а следовательно, ей никогда не придется беспокоиться о том, что она кого-то обременит.

Последующие годы принесли с собой различные признаки угасания: у нее стали опухать ноги, сперва одна, потом обе, изменился цвет кожи чуть повыше ключицы — как ни силилась бабка, эту досадную белизну не скрывали никакие притирки. Чаще всего бабка отмахивалась от этих перемен как от временных или неважных, и лишь через пять или шесть лет, когда из Торонто приехали родственники и в последний день визита решили пойти поужинать в индийский ресторан неподалеку, бабка вновь была вынуждена столкнуться лицом к лицу со страхами и опасениями, заявившими о себе в месяцы после операции. Всякий раз, как аппамме приходилось покинуть дом и преодолеть незнакомую территорию общественных мест, лицо у нее делалось

сдержанно-напряженным, встревоженным, она словно двигалась по тонкой грани меж стыдом и угрозой: стыдом за неуклюжесть своего тела, неуверенность своей поступи, за то, что она задерживает остальных и ее все жалеют, и угрозой, что если она переусердствует, стараясь не отставать, то оступится и упадет, и тогда ее, несомненно, будут жалеть еще больше. Кришан в таких случаях всегда замедлял шаг, отставал от компании, шел рядом с бабкой, притворяясь, будто они оба не могут идти быстрее, чтобы ее так не мучила необходимость догонять остальных, порой даже подавал ей руку, хотя бабка обычно отказывалась, отталкивала его руку, точно считала его жест оскорбительным. Чаще всего в таких предложениях, в общем-то, не было необходимости, однако ровно в такую минуту — они подошли к той части ресторана, где уровень пола оказался выше и нужно было подняться на приступочек, — аппамма, желая показать родственникам, что она прекрасно справляется без посторонней помощи, демонстративно отмахнулась от руки Кришана, споткнулась, упала ничком, отчего-то совсем бесшумно стукнувшись об пол, точно ее крупное мягкое тело целиком поглотило звук удара. Как всегда в таких случаях, поднялась суета, люди

ринулись на помощь, к аппамме бросились родственники, к месту происшествия немедленно устремились официанты, посетители вскочили, со скрежетом отодвинув стулья и скроив сочувственные гримасы, и в этой суете аппамма старательно напускала на себя невозмутимый вид, хотя была заметно потрясена, улыбалась пренебрежительно, с трудом поднялась — ноги ее дрожали — и направилась к столику. Ей тут же принесли стул, силком усадили ее прямо посреди зала, внимательно осмотрели под смущенными взглядами посетителей и официантов, гадавших, продолжать ли изображать сочувствие или можно уже перестать. Аппамме посчастливилось не задеть при падении ни твердый край стола, ни стула, но, несмотря на протесты и к ее великому смятению — подумаешь, упала, едва ли не с возмущением повторяла она, с кем не бывает, — было решено заказать блюда навынос и поужинать дома.

Трость мать Кришана купила отчасти по настоянию родственников, присутствовавших при падении, и это недешевое приобретение вызвало у аппаммы раздражение, граничившее с враждебностью. Как ни старалась невестка ее убедить, ходить с тростью аппамма отказывалась, а по-

скольку после случившегося стала значительно осмотрительнее и осторожнее передвигалась по дому, держась за мебель и стены, невестка в конце концов оставила уговоры. Трость заняла более-менее постоянное место в углу ее комнаты близ телевизора — как сувенир из поездки или подарок на память об особом событии, вопрос о подвижности позабылся и вновь возник лишь три года спустя: в один из выходных аппамма стояла на кухне у газовой плиты, жарила сардинки на обед Кришану — к этому времени ничего другого ей делать уже не давали, но сардинки она упрямо готовила, чтобы Кришан хоть в чем-то чувствовал себя ей обязанным, — и вдруг упала на пол. Ей вновь посчастливилось не удариться головой; аппамму тотчас же отвезли в больницу, и выяснилось, что у нее на несколько секунд остановилось сердце, отчего она потеряла сознание и упала. Естественная сигнальная система, отвечающая за регулярное сердцебиение, порой к старости ослабевает, объяснили врачи — больше Кришану и его матери, чем аппамме, которая беспомощно взирала на происходящее из кресла-каталки, пока при ней обсуждали ее состояние. И если по какой-то причине сигнал не дошел до сердца, оно пропускает удар, порой это при-

водит к головокружению или потере сознания. Чтобы в дальнейшем не случилось чего похуже, нужно установить приборчик на батарейке, так называемый кардиостимулятор, тот посылает электрические сигналы и тем самым поддерживает нормальный сердечный ритм, даже если естественная сигнальная система на мгновение дает сбой или вовсе перестает работать.

Аппамма боялась, что по возвращении домой ее заставят ходить с тростью, а потому, ободренная этим неожиданным диагнозом, означавшим, что она упала не по своей вине и что если ей установят кардиостимулятор, такого больше не повторится, она с воодушевлением согласилась на вторую операцию. Предчувствуя, что невестка, скорее всего, все равно попытается уговорить ее ходить с тростью, аппамма принялась собирать аргументы в свою защиту: и набалдашник у трости с изгибом, неудобно держать, и с тростью она упадет как пить дать, так что ей куда безопаснее держаться за стены и мебель. Из больницы аппамма вернулась сильной и энергичной, готовой отразить любые уговоры, точно этот приборчик на батарейках, что ей вживили под кожу, сделал аппамму неуязвимой. Но, войдя к себе в комнату, обнаружила, что у кровати ее дожидается вовсе

не трость, купленная три года назад, а новое приспособление, ходунки, состоящие из четырех полых алюминиевых ножек с резиновыми наконечниками, соединенных наверху подковообразной рамой с резиновыми ручками на каждой из трех сторон. Этот новый прибор застал аппамму врасплох, и мать Кришана — на этот раз она твердо решила не отступать — с легкостью опровергла все ее слабые возражения. Вам два раза уже повезло, отрезала мать, и если вы вновь упадете, неважно, по какой причине, то, возможно, до конца своих дней окажетесь прикованы к кровати, и если это случится, ухаживать за вами придется мне, вашей невестке: больше это бремя нести некому. Аппамма мгновенно умолкла, пронзенная мыслью о том, что станет обузой. И когда невестка вышла из комнаты, аппамма молча сидела, вытаращась на ходунки, как на незваного гостя, которого не в силах выставить; следующие три дня отмалчивалась, почти не выходила из комнаты. Мать Кришана уже опасалась, что вела себя слишком сурово и, пожалуй, стоит смягчить требования, как-то задобрить свекровь, но на четвертый день после обеда аппамма вышла из комнаты, крепко держась обеими руками за ходунки и сосредоточенно насупив брови,

и как ни в чем не бывало медленно проковыляла по коридору. Ни слова не говоря, уселась в гостиной в привычное свое кресло перед телевизором, словно бы в том, что она вышла из комнаты, опираясь на ходунки, нет ничего особенного и ее решение воспользоваться новым приспособлением — отнюдь не стремление приспособиться и не уступка действительности. Почуяв ее неохоту признавать перемену, мать с Кришаном искоса переглянулись и притворились, будто ничего не замечают; с тех пор аппамма без ходунков не ступала и шагу, точно в те три дня, что она провела взаперти, в коконе своей комнаты, в ней совершилась какая-то метаморфоза. Она толкала ходунки вперед на короткое расстояние, переносила на них свой вес, делала шаг вперед, после чего повторяла эту последовательность движений, вскоре настолько вошедших у нее в привычку, что трудно было представить, чтобы она передвигалась иначе. Если к ней заезжали родственники, она демонстрировала им все особенности ходунков — как с помощью кнопочных фиксаторов регулировать высоту ножек, как рама крепится к передним ножкам, так что задние поворачиваются, это дает определенную свободу движения, когда меняешь направление, — слов-

но привыкла считать ходунки признаком не слабости или уязвимости, а силы и способности, тем, что отсрочило или вовсе отменило необходимость сидеть в четырех стенах и что аппамма поэтому приняла как часть себя.

Конечно, на лестнице от ходунков толку было немного, и в последующие годы аппамма вынужденно ограничила частоту визитов на первый этаж. Она за сутки решала, когда отправиться в путешествие, и когда момент наставал, приближалась к лестнице напряженно-сосредоточенно, вставала боком и, вцепившись в перила, начинала спускаться, сперва переносила на нижнюю ступень ведущую ногу, потом опускала на нее взгляд, дабы убедиться, что нога стоит прочно, и тогда уже ставила рядом с нею другую ногу. Кришан или мать у подножия лестницы зорко следили за каждым шагом аппаммы, готовые поймать ее, если вдруг оступится и упадет; через несколько напряженных, изматывающих минут аппамма, осилив спуск, останавливалась отдышаться; ею владел восторг, смешанный с облегчением. Схватившись за ходунки — их всегда заблаговременно сносили к подножию лестницы, — она немедленно направлялась на кухню, с новообретенной бодростью расхаживала вдоль

шкафчиков, открывала все ящики, заглядывала в различные отделения холодильника, оценивала содержимое кухни, пытаясь понять, что изменилось, что осталось прежним, как эмигрант, вернувшийся на родину из изгнания, вдруг постигает, как обстоят дела. Утрата этого знания оказалась бы невыносимой, и когда походы на кухню в конце концов прекратились, аппамма компенсировала утрату физического доступа на кухню посредством окольных стратегий, главной из них были расспросы: она многозначительно и беспрерывно выпытывала у домашних, что происходит внизу. Аппамма всегда расспрашивала о том, что не могла проверить лично, — почему Кришан так поздно вернулся с работы, кто к ним пришел, почему ее младший брат, проживающий в Лондоне, давненько ей не звонил, — но теперь она расспрашивала обо всем куда настойчивее и чаще прежнего, на основе полученной информации выстраивала предположения о внешнем мире, подобно раненому генералу, который не может участвовать в битве и поэтому вынужден полагаться на чужие донесения и спутниковые снимки боя. Днем в будни и в выходные заняться ей было особенно нечем, по телевизору не показывали ничего интересного, и бабка с

увлечением строила и развивала эти предположения, придумывала все новые и новые вопросы, которые нужно задать, поскольку вопросы становились раз от раза сложнее и требовалась новая, более точная информация, чтобы подтвердить, опровергнуть или пояснить ее предположения. Вскоре Кришан с матерью обнаружили, что их угнетают бесконечные расспросы о мире, обсуждать который им было совершенно неинтересно. Они на цыпочках проходили мимо комнаты аппаммы, надеясь, что она не услышит и не позовет их, обрывали разговоры с нею — им-де надо идти, — особенно мать Кришана, ей и без того приходилось тяжко: на ней были покупки, готовка и вся домашняя работа, когда уж тут объяснять свекрови каждую банальную мелочь. Аппамма смекнула, что невестка и внук ее избегают, но бестрепетно продолжала выведывать информацию, задавала обоим одни и те же вопросы, будто хотела сверить ответы, выяснить, не противоречат ли они друг другу, хмурила брови и поджимала губы, пока не вызнает в точности все подробности, словно вращение мира вокруг своей оси целиком зависело от того, плодоносит ли кустик чилийского перца в их саду и осталось ли со вчерашнего дня рыбное карри, — словно, если

она не сумеет издали должным образом проследить за всем этим, произойдет катастрофа, день не сменится ночью и ночь не сменится днем.

Смерть всегда представлялась Кришану чем-то внезапным или насильственным, что происходит в определенное время и заканчивается, но сейчас, когда он сидел на камнях и размышлял о бабке, его вдруг осенило: смерть порою — дело небыстрое, затянутое и мучительное, и этот процесс занимает значительную часть жизни умирающего. Сейчас это казалось ему очевидным, но оттого ли, что отец Кришана погиб во время теракта в Центральном банке Коломбо [5], оттого ли, что на его родине безвременная и насильственная кончина стала обычным делом, прежде ему не приходило в голову, что порой люди умирают медленно, что умирание порой растягивается на долгие годы. С тех пор как он повзрослел и заинтересовался новостями, он слышал о смертях неожиданных, непредсказуемых — люди гибли в автоавариях, во время расовых беспорядков, от укуса змеи, от цунами, от осколков шрапнели, — и не задумывался о том, что для

[5] Примечания: 5

31 января 1996 года боевик «Тигров освобождения Тамил-Илама» подорвал грузовик с взрывчаткой во дворе Центрального банка Коломбо. 91 человек погиб, 1400 получили ранения.

большинства людей в большинстве мест, даже на Шри-Ланке, смерть — это процесс, который начинается за десятки лет до того, как сердце прекращает биться, процесс со своей логикой и траекторией. Этот процесс начинается практически неуловимо, с едва различимых изменений внешности, сперва они кажутся несерьезными — обвисает кожа, редеют волосы, углубляются морщины на лице, — но потом проявляются глубже, тревожнее: суставы теряют гибкость, слабеют рефлексы, незначительно, однако симптоматично ухудшается двигательная активность, так что в конце концов поневоле будешь пытаться угадать, что дальше, не ограничиваясь лишь тем, что происходит с кожей. Понемногу дают о себе знать изменения внутренних органов, изменения эти проявляются с силою неизбежности и касаются бодрости, менструации, метаболизма, либидо; анализы — если, конечно, есть возможность сделать анализы — выявляют повышение кровяного давления и уровня холестерина, необходимость внимательнее следить за внутренними показателями организма, а если пока что не выявляют такого, то облегчение, сопровождающее это известие, все равно вынуждает готовиться к таким переменам. В обоих случаях человек начинает

относиться к себе иначе, в обоих случаях старается питаться правильно, не переутомляться, высыпаться, делать зарядку, в обоих случаях все чаще ограничивает себя, участвует в жизни все более избирательно, и избирательность эта не столько связана с личным решением, сколько свойственна старению — медленному, скрупулезному процессу, из-за которого тело, некогда перемещавшееся так свободно и просто в разных средах, постепенно удаляется от того, что называется миром. Кости становятся хрупкими, мышцы слабеют, и вот уже человек не поспевает за остальными, снижается сообразительность, выносливость и работоспособность — независимо от того, работает ли человек в офисе или дома. Ухудшается зрение, слух, человеку все приходится повторять, поскольку он либо не расслышал, либо забыл; человек уходит с работы и еще реже бывает в так называемом внешнем мире. Вскоре он еще меньше осознает, что происходит с другими людьми в других краях, и бывает лишь в немногих определенных местах — на обследовании в больнице и в гостях у родственников; чуть погодя, почти недвижимый, он не покидает не только пределов своего дома, но и комнаты. Взаимодействие с внешним миром

замедляется и прекращается окончательно, человек не знает, что делать и чем себя занять, думать ему не о чем, кроме себя самого и собственного существенно сократившегося будущего, и когда наступает естественная кончина — по правде сказать, куда менее естественная, чем безвременная насильственная смерть: в нее на всех этапах вмешиваются доктора, медсестры, анализы, медикаменты, так что когда в конце концов наступает пора покинуть то, что осталось от тела, этого первого и самого близкого окружения человека, той частицы мира, над которою человек обладал полной властью, — даже если мы не то чтобы готовы к смерти, по крайней мере она не застает нас врасплох, поскольку она лишь последний этап давно начавшегося пути.

Кришан всегда полагал, что старики смиряются с этим состоянием — одни с большой неохотой, стараясь по мере сил облегчить себе процесс старения, такое положение вызывает у них досаду, но в целом они сознают его неизбежность; другие принимают его с достоинством и даже способны посмеяться над ограничениями, которые накладывает возраст. Аппамма же никак не могла смириться с новым замкнутым образом жизни; в этом было что-то ребяческое, словно

этот процесс, через который проходят все люди, не под силу лишь ей одной, и все же Кришан отчасти восхищался тем, как держится бабка: ее поведение заслуживало большего, нежели снисходительность или жалость. Трудно было не восхищаться решимостью, с какою бабка боролась с тем, что с ней происходило, ее нежеланием идти на компромисс в том, что она считала причитающимся ей по праву, даже если этому нежеланию не хватало практичности или достоинства, которые выказывали ее сверстники, даже если ее сопротивление подразумевало, что она лжет и себе, и людям, даже если оно, в конце концов, было обречено на провал. В общественной жизни она никогда особенно не участвовала — школу так и не окончила, замуж вышла рано, ее слово и авторитет имели вес разве что в делах домашних, — но упорно боролась за то, чтобы по-прежнему участвовать хотя бы в жизни семейной и уступала сферу влияния лишь после ожесточенных боев за каждый ее дюйм. Кришан вдруг вспомнил, как в одну из последних вылазок в сад бабка, утомленная путешествием со второго этажа и посещением кухни, доковыляла по траве до цветочного горшка, куда несколькими днями ранее посадила семена и теперь желала

проверить всходы. В горшке зеленели два слабых нежных росточка, заглушенные сорняками, корни которых, казалось, уходили так глубоко, что, как бабка ни старалась их вырвать, сорняки не поддавались. Кришан собирался выйти в сад и предложить помощь бабке, но вдруг увидел, что в глазах ее сверкнула ярость, аппамма стиснула зубы, наклонилась едва ли не параллельно земле и принялась один за другим выдергивать сорняки с такой силой и остервенением — казалось, по ее телу бежит ток, — что вырвала их с комьями почвы. Аппамма отбросила сорняки в угол сада, обхлопала взрытую землю и оглядела два зеленых росточка, уцелевших каким-то чудом посередине горшка. Полюбовавшись ростками, бабка погладила их с нежностью, не вязавшейся с предыдущими ее действиями, и с улыбкой повернулась к Кришану, глаза ее сияли, как сияли потом всякий раз — по крайней мере, так ему казалось, — когда он, вернувшись из сада, докладывал бабке о благополучном состоянии ее ростков. Кришан не знал, почему бабку так это занимало, но именно ради подобных вещей она цеплялась за то крохотное замкнутое пространство, в которое превратился ее мир, и он невольно чувствовал, что в столь смиренной и яростной

верности жизни кроется нечто достойное восхищения, в том, что бабка холила и лелеяла эту жизнь как только могла, всеми средствами, еще остававшимися в ее распоряжении, хотя тело ее постепенно отказывало, окружающие уже не нуждались в ней, не зависели от нее, а Рани, ее последней связи с большим миром, и вовсе не стало.

3

Кришан щелчком отправил окурок в воду, плескавшуюся у камней, медленно встал и потянулся всем телом. Сильно задерживаться он не планировал, поскольку не взял телефон и знал, что мать может перезвонить, но возвращаться еще не хотелось, и он перешел через рельсы, спустился на тротуар и пошел дальше той же дорогой, поглядывая на машины по левую руку — они то разгонялись, то тормозили рывками, — на попутных и встречных прохожих и бегунов, направлявшихся каждый в свою сторону. Та часть Марин-драйв, где он шел, почти не изменилась, здесь по-прежнему были все те же скромные дома — как частные, так и многоквартирные, — с тех пор, как завершилась война, к ним добавилось разве что несколько кафешек и ресторанчиков, открылись они главным образом для того, чтобы обслуживать тамилов, которые приезжали в гости из-за границы и старались поселиться поближе к родственникам. Среди многочисленных вывесок Кришан заметил красный крест небольшой аптеки, куда нередко захаживал за лекарствами для Рани и где не бывал уже несколь-

ко месяцев; он вдруг поймал себя на том, что прежде на прогулках не обращал на эту аптеку внимания. Он вспомнил, как немного смущенно подвигал фармацевту рецепты Рани, вспомнил, как сдержанно и с достоинством молчаливый худой фармацевт прочитывал длинный перечень, доставал с полок требуемое и выкладывал на прилавок. В аптеке всегда было все, что значилось в рецептах, — и антидепрессанты, и анксиолитики, и снотворное, и таблетки для печени, и лекарства от давления, причем анксиолитики и антидепрессанты в аптеке имелись самых разных производителей: признак того, что эти средства пользуются куда большим спросом, чем предполагал Кришан. После визитов в аптеку он часто задумывался о том, сколько народу, оказывается, принимает лекарства от психологических проблем и душевных заболеваний, гадал, много ли посетителей приходит с таким же длинным и разнообразным списком лекарств и есть ли среди них те, кто перебрался в столицу с северо-востока, пережив трагедию, подобно Рани. Кришан все шагал по Марин-драйв, уже с трудом и без всякого удовольствия, и, лишь завидев впереди устье канала Кирулапана, почувствовал, как устал. Канал объединял несколько меньших каналов, беззвуч-

но протекавших по удаленным от побережья районам столицы, — кульминация городской водосточной системы, насчитывавшей сотни лет: она собирала дождевую воду, направляла к побережью и сбрасывала в море. Темно-зеленые воды канала текли спокойно, неторопливо, движение их было почти невидимо, лишь кончики листьев папоротников, спускаясь со стен канала, пронзали практически невозмутимую водную гладь; Кришан направился вдоль канала, чувствуя, как шаги его становятся медленнее и шире. Вслушиваясь в слабое журчанье канала в те мгновения, когда шум машин ненадолго смолкал, он представлял, как под тротуаром, беззвучно проникая друг в друга, встречаются разные воды, как медленный безмятежный поток города сдается на милость глубоким, тяжелым, бурливым морским волнам, и ему вдруг пришло в голову, что, быть может, ощущение совершавшегося под землей незримого, но неуклонного обновления и внушало ему спокойствие всякий раз, как он переходил через канал, — признак того, что глубинные эти процессы затрагивали и его душу, даже если на поверхности его жизни словно бы ничего не менялось.

Едва Кришан ступил на тропинку на другом бе-

регу, как снова вспомнил — даже, в общем-то, не о Рани, а о том, как два года назад бабка съездила в Лондон, чего ей делать не следовало, поскольку вернулась она оттуда практически полутрупом; из-за этой злосчастной поездки в их жизнь и вошла Рани. В Лондон бабка ездила не впервые: если Кришан с матерью за границею были всего раз в жизни, несколько лет назад, сперва полетели в Лондон, оттуда в Торонто, бабка за прошлые двадцать лет бывала в Лондоне раз пять — ездила в гости к младшему брату (точнее, полубрату). Тот был восемнадцатью годами моложе аппаммы, она растила его несколько лет, когда они жили в Джаффне; несмотря на разность характеров и жизненных путей, они оставались близки и, с тех пор как разъехались, созванивались минимум раз в месяц. Брат аппаммы в двадцать с небольшим примкнул к одной из ячеек сепаратистов, действовавших в Джаффне, и в 1986-м вынужден был покинуть страну, сперва перебрался в Индию, оттуда в Европу и получил убежище в Англии. Когда он поселился в Лондоне, ему было уже под сорок, школу он так и не окончил, английского почти не знал, но был обаятелен, хорош собой и в конце концов стал управляющим супермаркета неподалеку от дома. Из-за прежней деятельности

вернуться на родину он не мог, ни жены, ни детей, которых надо было бы содержать, у него не было, а потому раз в несколько лет он покупал сестре билеты туда-обратно, и она приезжала к нему в Лондон на полтора месяца погостить. Этих визитов аппамма всегда ждала с нетерпением, отчасти потому, что полеты казались ей делом престижным, внушали ощущение власти, отчасти же потому, что они уверяли ее в частичной независимости от невестки, в том, что в мире есть и другой человек, который желает ее видеть и проводить с ней время. В отличие от невестки брат ни в чем ее не ограничивал и только радовался, когда она гуляла по садику за его домом или весь день торчала на кухне, стряпала обеды, ужины и множество масляных десертов; перспектива очутиться в иностранном окружении — хотя в Лондоне аппамма почти не выходила из дома — неизменно ее бодрила. Поездки за границу нарушали однообразие существования в четырех стенах, аппамма с нетерпением ждала этого события, которому на несколько месяцев подчинялось хаотичное течение времени — долгосрочный аналог ежедневных телепрограмм и купаний по воскресеньям (то и другое упорядочивало ее неделю); с годами эти поездки сделались

для нее жизненно необходимы: они, как ничто другое, помогали ей распоряжаться временем.

Брат приобретал ей билеты за полгода — так было дешевле, — и с той самой минуты, как ее ставили в известность об этой покупке, отвлеченное представление о путешествии за границу обретало в ее уме конкретную дату, и аппамма с неторопливым, всеобъемлющим удовольствием принималась ждать поездку. Собираться начинала за добрые два месяца; первым делом готовила чили, которое всегда возила брату и родственникам, и растягивала этот процесс на пару недель: сушила перчики чили и листья карри [6] на солнце, потом молола с кориандром, фенхелем, кумином и куркумой, получившийся порошок пересыпала в вакуумные пакеты, так чтобы их можно было убрать в багаж и везти в самолете. Покончив с чили, аппамма принималась доставать вещи, с предыдущей поездки хранившиеся в шкафу, в основном нарядные сари, а также свитеры и носки, ненужные ей в Коломбо, перестирывала, аккуратно сворачивала и откладывала в сторонку. Потом бралась за невестку: пора подавать документы на визу,

[6] Примечания: 6

Имеются в виду листья мурайи Кёнига, именно их используют для приготовления приправы карри.

закупаться лекарствами от давления и от сердца, эти таблетки понадобятся ей за границей, потом прочесывала ящики в поисках нужной мелочовки — батареек, ручек, аптечных резинок, безопасных булавок, — в гостях все это ей пригодится. И наконец, за три недели до вылета аппамма велела Кришану или его брату принести два потрепанных чемодана, что хранились у них под кроватями, ставила чемоданы в углу своей комнаты, открывала и аккуратно раскладывала в их отделениях приготовленные пожитки. Собирать чемоданы аппамма заканчивала минимум за неделю до отъезда и оставшиеся дни представляла, как будут проходить ее дни в Лондоне; чтобы удостовериться, что она ничего не забыла, время от времени перекладывала вещи, добавляла то одно, то другое, наслаждаясь порядком и изобилием в чемоданах, тем фактом, что она готова к любым непредвиденным случаям и их последствиям, так что, когда наконец наступал день отъезда, оставалось лишь отправить ее тело и чемоданы в Лондон, поскольку мыслями она давно уже невозмутимо обосновалась в свободной комнате братнина дома.

Когда три года назад брат позвонил, пригласил аппамму в гости в следующем июне и предложил

заодно отметить с размахом ее восьмидесятипятилетие, созвать на торжество родственников не только из Лондона, но и из континентальной Европы, аппамме, само собой, польстило его предложение. Несмотря на внешнее безразличие, она явно обрадовалась возможности съездить в Лондон отпраздновать свое здоровье и долголетие, обрадовалась, что все взгляды будут обращены к ней, пожилой, но еще энергичной главе семьи, тому центру притяжения, вокруг которого собрались рассеянные по миру родственники. Кришан с матерью ее восторгов не разделяли: четыре года назад путешествие в Лондон действительно прошло гладко, но с тех пор здоровье аппаммы существенно ухудшилось. Тело ее ослабло, особенно ноги, вследствие чего она уже реже спускалась на первый этаж, мочевой пузырь подводил, порою она ходила в туалет каждые два-три часа и из-за этого не высыпалась. Слышать аппамма тоже стала хуже, ей выписали слуховой аппарат, но она им упрямо не пользовалась, ей стало труднее поддерживать разговор и смотреть любимые телепрограммы. В усугубившейся изоляции аппамма чувствовала себя все более одиноко, и мысль отметить день рождения в Лондоне показалась ей необходимой

переменой, так существенно ее ободрившей, что ни Кришану, ни его матери не хватило духу высказать аппамме свои сомнения. В последующие недели она стала больше двигаться, на коротких дистанциях училась перемещаться без ходунков, старалась есть здоровую пищу, озаботилась внешностью и с добросовестной пунктуальностью мазала кремом сыпь на шее. Радость оттого, что аппамма полетит за границу, вскоре явно сменилась тревогой о том, как она перенесет путешествие и, самое главное, проявит себя на торжестве, о том, удастся ли ей удивить родню душевной и физической бодростью; вероятно, именно из-за этой тревоги перед надвигающимся отъездом аппамма сильно сдала, похудела, стала забывчивой, в разговоре повторяла одно и то же и все реже вставала с кровати.

За два месяца до поездки и Кришан, и его мать задумались о том, что аппамме, пожалуй, ехать небезопасно, и мать наконец отважилась поговорить с нею об этом, предположила, что, быть может, полет следует отложить или не лететь вовсе. Аппамма сперва отмахнулась, но когда поняла, что невестка настроена решительно и серьезно, вызверилась на нее, чего прежде за ней не водилось. Я в состоянии выдержать долгий

полет, запинаясь от ярости, говорила аппамма, в аэропорту меня будут перевозить на каталке служащие, а в полете от меня ничего не требуется, знай себе сиди. Менять планы сейчас, когда билеты уже куплены, — значит швырять братнины деньги на ветер, ты меня отговариваешь исключительно из зависти, ведь тебе-то самой за границу не съездить. Мне туда и не хочется, отвечала мама Кришана, я упомянула об этом исключительно потому, что тревожусь за ваше здоровье: как вы собрались перелететь через полмира, если вы и по лестнице спускаетесь с трудом? Аппамма рассерженно отвернулась, после этого разговора обе благоразумно отмалчивались и вели себя так, будто знали наверняка: другая вот-вот уступит. Переломный момент наступил за полтора месяца до отлета, когда аппамма спросила мать Кришана, почему она до сих пор не подала документы на визу, вдруг откажут, ведь прежде она всегда обращалась за визой заблаговременно. Мать Кришана пропустила вопрос мимо ушей, а аппамма вместо того, чтобы спорить или ругаться, погрузилась в молчание, отказывалась от еды, не говорила ни слова и вставала со своего кресла лишь чтобы пойти в туалет или лечь спать. Мать Кришана

делала вид, будто ничего этого не замечает, надеясь, что свекровь вот-вот сдастся, но аппамма упрямо держала пост и обет молчания, и два дня спустя, опасаясь, как бы свекровь не извела себя, мать вынужденно уступила, сообщила аппамме через Кришана, что подаст документы на визу, что она не хотела никого мучить и если поездка в Лондон так важна для аппаммы, то пусть едет. После одержанной победы аппамме стало гораздо лучше, и к тому времени, когда ей выдали визу, беспокойство Кришана и матери несколько улеглось. Несколько недель спустя, наблюдая из-за стекла, как служащий аэропорта стремительно провозит аппамму через пункты регистрации и контроля, Кришан с матерью уверились, что ничего страшного не случится, полет пройдет спокойно и на той стороне аппамму без проблем передадут брату, и махали ей на прощанье — аппамму уже катили к стойке паспортного контроля, — с нескрываемым нетерпением предвкушая полтора месяца вольной жизни.

Назавтра им позвонил из Лондона брат аппаммы и проинформировал, что она прибыла благополучно. Правда, устала в полете и отказывается от еды, жизнерадостно добавил он, но это из-за смены часовых поясов, выспится, отойдет.

Еще через день он перезвонил и с легкой тревогой в голосе сказал, что аппамма так и не поела. Двигается с трудом, почти не говорит и вообще на себя не похожа, хотя что именно не так, он толком не понимает. Он стал названивать им ежедневно и каждый раз повторял одно и то же: я не знаю, что делать, и боюсь, как бы ей не стало хуже; наконец, на восьмой день позвонил и сказал, что, наверное, лучше как можно скорее отправить ее домой. Аппамме чуть полегче, она даже что-то ест, сообщил он, но все равно сама не своя; правда, быть может, скоро придет в себя. Брат считал, что еще немного — и аппамма оправится достаточно, чтобы выдержать перелет; конечно, менять билет дорого, но все-таки лучше отправить ее домой пораньше: вдруг ей опять станет хуже. В субботу в ее честь устроят небольшие посиделки вместо запланированного торжества, а в воскресенье он отвезет ее в аэропорт на прямой рейс до Коломбо. Праздник, конечно, получится не такой пышный, как планировалось, поскольку родственники из Европы не успеют приехать, но, по его мнению, в сложившихся обстоятельствах это единственное разумное решение. Мать Кришана не возражала, понимая, что если аппамма в Лондоне сляжет, брат не сможет за нею ухажи-

вать. Неделю спустя Кришан с матерью снова выехали в аэропорт, всю дорогу нервно молчали и прибыли на место за час до самолета. Уселись в пещерообразном зале ожидания, поглядывая то на табло прилета, свисающее с потолка, то на автоматические двери, сквозь которые выходили новоприбывшие пассажиры, в основном туристы из Европы, России и Северной Америки, высокие, с рассеянным видом: после окончания войны туристы потянулись на Шри-Ланку. Брат аппаммы звонил уже дважды, спрашивал, не прилетела ли сестра, нетерпение его выдавало искреннюю тревогу за то, как она перенесет полет, Кришан с матерью напряженно ждали; наконец объявили, что самолет приземлился. Они не сводили глаз с автоматических дверей, внимательно разглядывали каждую новую волну выходивших, пытаясь определить, похожи ли они на пассажиров прямого рейса из Лондона или, скорее всего, прибыли еще откуда-то. Минуло полчаса, аппаммы все не было, и мать Кришана, не в силах больше сидеть, поднялась и протолкалась сквозь толпу к самым дверям. Опершись на перила рядом с турагентами, державшими таблички с названиями своих фирм, она нервно крутила в руках телефон, то и дело обводила взглядом зал ожидания, точно в

нем был еще один выход, которого она сперва не заметила. Так прошло еще полчаса, потом еще полчаса, Кришан с матерью уверились: что-то случилось, надо найти кого-то из представителей авиакомпании и узнать, в чем дело, и когда они уже были готовы отправиться на поиски, автоматические двери разъехались и в зал ожидания медленно вывезли кресло-каталку.

Они не сразу сообразили, что в кресле-каталке сидит та же самая женщина, с которой они попрощались одиннадцатью днями ранее: аппамма так осунулась и похудела, что сари на ней висело складками. Кофточка спадала с правого плеча, открывая лямку бюстгальтера, остекленевшие глаза недоуменно рассматривали просторный зал с высоким потолком. Кришан с матерью помахали служащему, который вез кресло-каталку, и со всех ног бросились к аппамме, она же, завидев их, вцепилась в свою сумочку и, судя по взгляду, не узнала ни невестку, ни внука, черные зрачки ее словно бы слились с серо-карими радужками. Кришан с матерью несколько раз позвали аппамму по имени, не обращая внимания на то, что загородили проход и на них все смотрят; всякий раз, как они произносили имя аппаммы, взгляд ее на мгновение становился осмысленным, но

потом вновь принимался блуждать, и казалось, будто меж мягкими вислыми складками плоти блестят черные капли нефти. И лишь когда мать Кришана, взяв свекровь за руки, медленно и громко, точно ребенку, назвала свое имя, взгляд аппаммы несколько прояснился и, судя по лицу, она узнала невестку; наблюдая за бабкой в этот краткий миг осознания — вряд ли он длился долее двух секунд, — Кришан заметил в ее глазах проблеск то ли смущения, то ли стыда, словно она вдруг поняла, что случилось, поняла, что все планы и надежды, которые она возлагала на поездку, пошли прахом, что вернулась она, заслужив не восхищение родственников, а жалость. Бабка пробормотала что-то о своем брате, о дне своего рождения — то ли бывшем, то ли не бывшем, — повторила это последнее несколько раз и снова оцепенела. И в этом оцепенении она провела несколько долгих дней или даже недель, дней и недель, в течение которых не способна была связать слова в осмысленные предложения, не способна была ни есть, ни мыться самостоятельно, порой мочилась или испражнялась в постель, и, вспоминая сейчас, на прогулке по Маринд-райв, этот случай в аэропорту, Кришан невольно подумал, что бабка его в тот день, увидев их с

матерью, намеренно отказалась от ясности сознания, что она сразу почуяла: остаться в сознании означает смириться со своею беспомощностью, и в глубине души решила существовать, не приходя в себя.

Пешеходов на тротуаре становилось все меньше, дороги пустели, машины ехали быстрее, и, взглянув на густеющую небесную синеву, Кришан осознал, что скоро стемнеет, а он уже порядочно отошел от дома. Вдали на другой стороне дороги маячил невысокий храм Пиллаяра [7] — последний ориентир, по которому Кришан определял, в какой части Марин-драйв находится; он решил пройти еще немного, выкурить сигарету и уж тогда возвращаться, быстро посмотрел по сторонам и перешел дорогу. Храм — скорее, святилище — состоял из одной-единственной комнатки, но его присутствие, как и канал неподалеку от дома, неизменно ободряло Кришана во время прогулок. Приблизившись к храму, он остановился, посмотрел внутрь сквозь железную решетку, увидел в свете лампадки детскую улыбку под хоботом Пиллаяра, кивнул ему, как старому знакомому, и направился дальше.

---

[7] Примечания: 7

Одно из имен Ганеши, индуистского бога с телом человека и головой слона. Ганеша олицетворяет мудрость и благополучие.

Официального названия у храма не было, но в юности Кришана здешнего обитателя называли не иначе как «визовым Пиллаяром», поскольку чаще всего сюда приходили молиться о визе; поговаривали, что обычно Пиллаяр исполнял такие вот просьбы. Рассматривая по возвращении в Коломбо карты «Гугла», Кришан заметил, что и в «Гугле» святилище называют «визовым Пиллаяром»; обиходное прозвище храма обрело полуофициальный статус, несомненно, из-за усилий благодарных тамилов, кому выдали визу и кто ныне проживал за рубежом. Кого Кришан ни расспрашивал, никто не ответил ему, каким образом храм оказался связан с эмиграцией и визами; все сведения о храме Кришан почерпнул из длинного ностальгического рассказа, который прочел в анонимном комментарии в блоге какого-то эмигранта. Неизвестный автор комментария до переезда за границу явно прожил в этом районе долгие годы; быть может, это был тот же человек, чьими стараниями такое название храма закрепилось и в гугл-картах, Кришан знал, что многие тамилы, ныне проживающие за границей, подолгу сидят в интернете и занимаются чем-то подобным: люди, которые уехали или бежали из страны, теперь живут в лютом

холоде на другом конце света и тратят свободное время в попытках убедить себя, что их прошлое на этом острове — не мираж, их воспоминания — не фантазии и не галлюцинации, в этих воспоминаниях живы места и люди, действительно существовавшие некогда на Земле.

Согласно тому комментарию, на месте храма некогда стоял обычный частный дом, небольшой, одноэтажный, его владельцы, люди среднего достатка, съехали в начале 1990-х, когда правительство забрало территории вдоль побережья под строительство дороги, которую ныне называют Марин-драйв. Среди развалин дома маячила брошенная каменная статуя Пиллаяра: измазанный грязью, открытый всем стихиям, он сидел с извечной своей безмятежной улыбкой — видимо, статуя оказалась слишком тяжелой, предполагал неизвестный пользователь, и поэтому хозяева не забрали ее в новый дом. Время от времени к изваянию возлагали цветы, порой приносили фрукты; наконец, кто-то отмыл статую от грязи и расчистил среди развалин дорожку, чтобы легче было подойти. Было это в середине девяностых, тогда в Коломбо с северо-востока Шри-Ланки стекались тысячи тамилов в надежде, что им удастся уехать в Великобританию, Канаду, Европу или

куда-нибудь еще, где можно рассчитывать на благополучие. Большинство селились в Веллаватте, тамильском районе столицы, и чувствовали себя здесь — пусть и на самом юге Шри-Ланки — в относительной безопасности; кто-то из этих переселенцев — один или группа — и выстроил Пиллаяру небольшое укрытие, чтобы он сидел не под открытым небом. Чуть погодя перед статуей поставили и латунную лампадку, а следом и ящичек для пожертвований: так появилось это импровизированное святилище, а через несколько лет на пожертвования местных жителей Пиллаяру выстроили постоянное укрытие из бетона, так что это строение уже можно было назвать храмом, подчеркивал комментатор, хоть ухаживали за ним не жрецы-брамины, а старухи из прочих каст.

В сгущавшихся сумерках Кришан миновал храм и очутился в последней, пустынной части Марин-драйв; здесь не было ни магазинчиков, ни уличных фонарей и царила тишина — лишь волны плескали о камни да время от времени с шумом проезжала машина. У тротуара был припаркован автобус с выключенными фарами; Кришан обошел автобус и заметил, что добрался до остановки — правда, не обозначенной указа-

телями, — ночных автобусов, курсировавших между Коломбо и Джаффной: когда он работал на северо-востоке, его частенько забирали или высаживали на этом самом месте. Сейчас здесь не было ни души, до отправления автобуса оставалась масса времени, но Кришан на всякий случай отошел подальше и наконец остановился у неосвещенного узкого переулка, который вел к Голл-роуд, — одного из последних таких переулков, дальше Марин-драйв заканчивалась. Стоя спиной к ограде пустующего участка, он смотрел на бескрайнее море, темнеющее за рельсами и дорогой, на мерцающие огни грузовых судов вдали, терпеливо и тяжко перемещавшихся между портом и рейдом. Чуть погодя Кришан достал сигарету, отвернулся, закурил, вновь повернулся к морю, затянулся и отчего-то вспомнил, как Рани — она, разумеется, никогда не курила, — призналась ему, что жует бетель. Тогда ему трудно было в это поверить, отчасти потому, что эта привычка ассоциировалась у него с работягами-мужиками, а отчасти потому, что он никогда не видел, чтобы Рани жевала бетель. Он никогда не видел, чтобы Рани выходила в сад или в туалет выплюнуть липкую кроваво-красную жвачку, она вообще нечасто выходила из дома одна и уж

точно слишком редко, чтобы заподозрить у нее пристрастие или хотя бы привычку к бетелю. Я жую только дома, в деревне, с улыбкой пояснила Рани, очевидно гордясь своей выдержкой, в чужом доме я себе такого не позволяю. Да и дома жую нечасто, добавила Рани, я начала жевать бетель недавно, года через полтора после войны. Мне понравилось, меня это успокаивало, хотя я старалась жевать пореже, чтобы не слишком зависеть от своей привычки. Тогда Кришан не стал ее расспрашивать — то ли не хотел лезть не в свое дело, то ли просто не догадался, — но сейчас, вспомнив признание Рани, пожалел об этом, ведь интересно же узнать, как у людей появляются подобные пристрастия, не только к бетелю или сигаретам, но и к другим веществам, вызывающим более сильное привыкание. Независимо от того, быстро ли развивается привычка — опомниться не успел, как уже пристрастился, — или это происходит постепенно, с молчаливого согласия человека, каждая история неизменно рассказывает о нехватке чего-то, в общем ли, в частном, из-за чего и развилась эта привычка. Пристрастия зачастую — по крайней мере, вначале — способ смирить, перетерпеть слишком сильные или мучительные потребности, способ

взять верх над желанием, парившим чересчур беззаботно, без цели, с которой оно было бы связано; многим людям пристрастия помогают овладеть своими порывами, вернуть их с небес на землю, претворить их в нечто легко достижимое и утешительно материальное — сигареты, листья бетеля, бутылки спиртного. Несомненно, Рани пристрастилась жевать бетель из-за всего, что ей довелось повидать и утратить во время войны, но какую именно роль бетель играл в ее жизни в последние годы, какое именно утешение давал ей, Кришан понятия не имел, а спросить или выяснить, пока Рани была жива, как-то не догадался, и теперь уже не узнает, понял он, как многое другое о ее жизни.

Слишком уж сильно Рани отличалась от них, слишком опыт ее и история были далеки от привычного им, и, вспоминая о ней сейчас, Кришан не мог поверить, что когда-то они с Рани делили кров, что их жизни пересеклись сколь-нибудь значимо. Впервые он увидел Рани два с лишним года назад, во время обхода психиатрического отделения больницы общего профиля в Вавунии, куда Кришан приехал поговорить с ведущим врачом о программе помощи жертвам травмы, которую его фонд предлагал в Джаффне. Кришан

с врачом шли по больнице, разговаривали уже не о программе как таковой, а о жизни отделения в целом, как вдруг Кришан заметил сквозь высокую металлическую решетку, отгораживавшую психиатрическое отделение, женщину в аккуратном лиловом халате, она сидела на койке и молча читала книгу. Женщина была крупная, под глазами ее чернели круги; когда Кришан с доктором проходили мимо, она опустила книгу и кротко улыбнулась. Пораженный контрастом между спокойным задумчивым обликом женщины и неуравновешенностью прочих обитателей отделения, бóльшая часть которых страдала от разных душевных расстройств, Кришан спросил у врача, едва они оказались за пределами слышимости, кто эта женщина и что она делает здесь. У нее было трое детей, ответил доктор, два сына и дочь, оба сына погибли. Старший — в 2007-м, он воевал за «Тигров», а младшего — ему тогда было двенадцать — убило осколками в 2009-м, за день до конца войны. У женщины посттравматическое стрессовое расстройство и тяжелая депрессия, каждый месяц на несколько дней она ложится к ним в отделение, формально — для лечения и сеансов электрошоковой терапии, но еще и для того, чтобы хоть ненадолго вырваться из дома,

где ей не дают покоя бесконечные мысли о сыновьях. Сейчас ей лучше, чем в начале терапии, продолжал врач, но прошло уже три года, и если она не уедет из дома, вряд ли поправится. Дома она вынуждена подолгу оставаться в одиночестве, в плену собственных мыслей, там слишком многое напоминает ей о сыновьях, чтобы она нашла в себе силы смириться с утратой и жить дальше — правда, в таких случаях, как у нее, это практически невозможно.

Вскоре после того, как Кришан узнал об этой женщине, аппамма съездила в Лондон, и хотя некоторое время мать Кришана ухаживала за свекровью самостоятельно, вскоре стало понятно, что с началом учебного года, когда матери нужно будет вернуться к обязанностям учительницы, им придется найти кого-то, кто присмотрит за аппаммой. Выяснилось, что профессиональная медсестра или сиделка им не по карману, и мать Кришана несколько недель спрашивала едва ли не каждого встречного, не знают ли они кого-то, кто за вознаграждение готов сидеть с аппаммой. Но учебный год приближался, а помощник не находился; мать, измучившись и отчаявшись, вспомнила, что Кришан рассказывал ей о женщине, которой нужно сменить обстановку, чтобы

вылечиться от депрессии, и попросила его узнать у врача, не согласится ли эта женщина приглядывать за аппаммой. Кришан подумал, что об этом не может быть и речи, и не только потому, что Рани и о себе не способна позаботиться, не то что о ком-то еще (как ему показалось). За последние два года войны она потеряла обоих сыновей, навидалась немыслимых зверств; даже если она согласится, Кришану будет неловко, если она поселится в их двухэтажном столичном доме: в присутствии человека, перенесшего столько страданий и лишившегося всего, даже душевного здоровья, Кришана замучит чувство вины. Да и положение ее в доме, и обязанности, которые ей придется выполнять, будут двусмысленными, ведь она не профессиональная сиделка и нет никаких гарантий, что аппамма — а она, одряхлев, сделалась вздорной, — проявит к ней уважение. Но мать уже измучилась до такой степени, что сдаваться не пожелала и ответила Кришану: если врач говорит правду, Рани это пойдет на пользу, в любом случае решать ей, не тебе, захочет — согласится. Наконец Кришан уступил, хоть и не сомневался, что эту мысль сочтут нелепой; извинившись перед врачом, передал ему предложение матери, а тот, как ни

странно, сразу же согласился. Рани полезно на время уехать с севера, сказал врач; быть может, необходимость ухаживать за другим человеком отвлечет ее от тяжелых мыслей, он обязательно спросит и потом сообщит Кришану, заинтересовало ли Рани их предложение. Два дня спустя врач позвонил и сказал, что Рани согласна и приедет через неделю.

Поздно вечером в следующее воскресенье Кришан поехал за Рани на автобусную станцию Петтах и увидел, что она стоит у выхода из вокзала, растрепанная, в мятом сари, на могучем плече — большая спортивная сумка со всеми пожитками. Рани с опаской поглядывала на море ярких огней и личных автомобилей, на высокие многоэтажки, асфальтированные дороги, на окружавших ее людей, говоривших на непонятном ей языке. Наверное, первый раз очутиться в Коломбо действительно страшновато, смущенно подумал Кришан, вылезая из рикши, особенно если всю жизнь прожила в далекой деревне, где пятнадцать лет подряд верховодили «Тигры». Наверное, страшновато миля за милей наблюдать за окном автобуса сплошную застройку, густонаселенные пригороды и окраины, а потом и центр города, видеть вблизи богатство и мощь

государства, против которого воевало столько твоих знакомых — и поплатилось за это жизнью. Заметив Кришана, Рани улыбнулась, как старому другу, и устремилась ему навстречу. По дороге домой она больше молчала, как он ни старался ее разговорить, — молчала не столько от робости, показалось Кришану, сколько оттого, что ей нечего было сказать. Держалась она уверенно даже в новом и непривычном окружении; едва они вошли в дом, как Рани принялась разбирать сумку и в целом довольно легко освоилась. Она делала все, что от нее требуется, куда тщательнее Кришана и его матери; не раздумывая, помогала аппамме и в туалете, и в ванной. Первая неделя прошла безо всякой неловкости, которой так боялся Кришан, и вскоре он понял, что зря сомневался, стоит ли приглашать Рани пожить у них, что это все же была хорошая мысль. Правда, бывали конфликты с аппаммой — когда все только начиналось, она от слабости вела себя как ребенок и любила быть в центре внимания, — но Рани, похоже, не обижалась ни на случайные грубости, ни на беспардонные замечания: то ли понимала, что аппамма не в своем уме, то ли просто не принимала ее выходки близко к сердцу. В присутствии Кришана Рани всегда улыбалась,

поддерживала беседу с ним, его матерью и аппаммой, хотя почти никогда не заговаривала первой, и если бы не ее внешность — круги под глазами, непослушные растрепанные волосы, — о том, что на душе у Рани отнюдь не спокойно, можно было бы догадаться лишь по блуждавшему порой взгляду, точно мысли ее занимала вовсе не работа, которую делали руки. Кришан гадал, о чем Рани думает в такие минуты, вспоминает ли сыновей и последние месяцы войны, но ни разу не отважился спросить напрямую, и если в первые недели они что и узнали о ее жизни на северо-востоке, то лишь когда Рани рассказывала о своих уцелевших родственниках, когда у нее появлялся повод упомянуть алкоголика-зятя, падчерицу, которую она помогала растить, или двух маленьких внучек: ими Рани — это было заметно — дорожила больше, чем кем бы то ни было из живых.

Странно думать о том, что Рани мертва: человек, полтора с лишним года проживший в их доме, человек, к которому они так привязались, каждый по-своему. Странно думать о том, что, пережив столько обстрелов в конце войны, уцелев под бомбами и шрапнелью, она умерла вчера вечером из-за случайности, едва не беспечности:

упала в колодец и сломала шею. Племянник ее — ему было лет девятнадцать-двадцать — тоже погиб, уже после войны, из-за несчастного случая (Рани об этом рассказывала): на мотоцикле врезался в грузовик и скончался на месте, удар был такой силы, что его выбросило из седла. И это несчастье, когда Кришан узнал о нем, показалось нелепой случайностью, странной беспечностью, учитывая, сколько парнишка повидал и пережил в последние два года войны. Тогда Кришан счел это стечением обстоятельств, жестокой выходкой мира, в котором они живут, сейчас же ему пришло в голову, что, может быть, гибель парнишки не так уж случайна, что, может быть, и смерть Рани тоже неслучайна. Ходило немало историй о несчастных случаях, приключавшихся на северо-востоке после войны: люди тонули, гибли в пожарах, подрывались на минах, попадали в аварии (это чаще всего) — на второй и третьей страницах газет печатали множество сообщений об очередной неожиданной или странной смерти очередного неизвестного в бывшей зоне военных действий. Конечно, несчастные случаи бывают всюду, но несчастные случаи на северо-востоке — не просто невезение, иначе как объяснить, что отважные, закаленные люди, столько всего пе-

режившие и уцелевшие, так легко и безропотно гибнут? Должна же за этим стоять иная, менее очевидная логика, не просто случайность, точно смерть в каком-то смысле преследует по пятам тех, кому удалось уцелеть, точно они в каком-то смысле помечены и разнообразные статистически высокие вероятности, на которых зиждется обычная жизнь, для них начинают меняться, все больше и больше склоняясь к непредвиденной их кончине, точно они добровольно вышли с распростертыми объятиями навстречу случайной смерти, точно они обрадовались смерти или даже заждались ее.

Стоя спиной к ограде, глядя на огоньки корабля, затерявшегося в черной воде, Кришан снова вспомнил голос дочери Рани по телефону, ее лишенный эмоций тон и желание поскорее закончить разговор. Это, в общем, понятно, наверняка ей пришлось повторить одну и ту же историю бессчетное множество раз, наверняка перед похоронами у нее масса забот, и все-таки у Кришана возникло чувство, будто она что-то скрывает. Чтобы попасть на похороны, вдруг понял он, в воскресенье придется выехать рано, и он поедет один, дорога туда-обратно будет слишком трудна для матери, да и кто без нее приглядит

за аппаммой? Это будет его первая поездка на северо-восток после возвращения в Коломбо, первая почти за год, и поедет он не куда-нибудь, а в Килиноччи, эпицентр войны. Ему придется очутиться в городе, в котором военные жестокими мерами демонстративно поддерживают чистоту и порядок, придется проехать многие мили по разоренным поселкам, дабы попасть в деревню Рани, где он еще не бывал. Она выросла в этой деревне, провела там всю жизнь, во время войны их семью выселили оттуда, потом Рани вернулась домой с сыновьями; при мысли о том, что он побывает в этой деревне, Кришану вдруг сделалось неуютно. Ему хотелось поехать, хотелось отдать дань уважения Рани, как-то выразить ей признательность, причем так, чтобы это видели ее родные, но при встрече с этими, прежде незнакомыми ему людьми, он наверняка ощутит вину. Он почувствует себя виноватым при виде колодца, в котором сгинула Рани, виноватым в том, что ничего не сделал, чтобы предотвратить ее смерть. Теперь он не сомневался: даже если это случайность, ее можно было предвидеть и, в общем-то, предсказать. Кришан вспомнил, как обнимала его Рани, когда он проводил отпуска в Коломбо, как крепко она прижимала его ли-

цо к своим круглым щекам, точно приветствуя сына, которого не видела несколько лет, и глаза его увлажнились, смысл телефонного звонка наконец дошел до него сейчас, когда он стоял в темноте и смотрел на темное море. За пределами его поля зрения послышался слабый лязг тяжелого железа; шум нарастал, Кришан повернул голову и увидел размытые желтые фонари пригородного поезда, тот шел вдоль плавного изгиба побережья, и световые круги обретали яркость и четкость. Движение становилось все судорожнее и громче, стук колес к той минуте, когда первый вагон, грохоча, поравнялся с Кришаном и загородил ему вид на море, почти оглушал, вагоны неслись так стремительно, что казалось, будто они накладываются друг на друга и мчащийся поезд на самом деле стоит на месте. Кришан наблюдал, как вагоны с открытыми дверьми неподвижно мелькают мимо, флуоресцентный свет заливает множество тел, что сидят, стоят, высовываются наружу, на мгновение замораживает их позы на фоне ночи, все это длилось невыносимо долго, но наконец поезд скрылся из виду, тряска стихла, и остался только Кришан, смотревший на море с пустынной дороги.

Путешествие

4

Вялый и неуклюжий из-за слишком раннего подъема, Кришан сидел на корточках, прислонившись спиной к одному из железных столбов, высившихся на платформе, и рассматривал окружающих с напряженной, исступленной ясностью, какая часто владеет теми, кто проснулся затемно, когда за окном все окутывает непроглядная чернота, предшествующая рассвету. Поезд должен был отойти в четверть шестого, но еще не пришел, на платформе толпился люд, немолодые мужчины, пожилые пары, семьи сидели, стояли в прохладном утреннем мраке, молча глядя на поезда, прибывающие или отправляющиеся от других платформ. Кришан наблюдал за семьей из пяти человек, расположившейся неподалеку от того места, где он сидел; семейство стояло в кружок у края платформы, внутри круга лежали три большие сумки. Мать с отцом озирали вокзал с молчаливым, однако внимательным любопытством, будто их впоследствии попросят нарисовать по памяти увиденное, а трое их детей-подростков, две дочери и сын, с деланым безразличием опирались на сумки, по-

грузившись в тусклое синее свечение телефонов. Родители выглядели так, словно по-прежнему жили в Шри-Ланке, но по виду детей было ясно, что семья прибыла из-за границы: их чужеродность, как у многих детей эмигрантов, мгновенно заявляла о себе вещами, в которые они были одеты, модными обтягивающими футболками, майками, широкими спортивными брюками, облегающими джинсами. В другое время Кришан попытался бы угадать, кто эти люди по национальности и при каких обстоятельствах уехали из страны, рассмотрел бы, во что одеты родители, прислушался бы, на каком языке говорят дети — по-тамильски или на языке своей новой родины, нервничают ли они, вернувшись в место рождения, или спокойны. Сегодня же, дожидаясь поезда, лишь таращился на них без всякого любопытства: у него не было настроения ни анализировать, ни делать выводы, и он позволил ощущениям взять верх над разумом.

Последние полтора дня он пребывал в странном расположении духа — рассеянный, сам не свой, с вечера пятницы он не смог пролить ни слезинки, не смог сколь-нибудь продолжительно думать о Рани: теперь она снова казалась ему далекой и эфемерной. Вернувшись домой с прогулки, он

сообщил матери новость, и они решили, что аппамме расскажут об этом не раньше, чем завтра утром, чтобы она всю ночь не думала о смерти Рани; Кришан вернулся к себе, пытался читать, но то и дело возвращался мыслями к письму Анджум и пытался решить, что ей ответить. Наутро после завтрака Кришан с матерью рассказали аппамме о случившемся, но это известие, вопреки опасениям, ее не расстроило и не ошеломило: аппамма принялась расспрашивать, как это случилось, они удивленно отвечали, а потом она замолчала, точно обдумывая сказанное. Она опечалилась, но печаль ее была сдержанной, более задумчивой и спокойной, чем они ожидали. Аппамма пожала плечами, на глазах ее навернулись слезы; Рани столько перестрадала, бедная женщина, с унылой улыбкой сказала аппамма, может, оно и к лучшему, что ее не стало. Помолчав, аппамма велела матери Кришана снять с ее банковского счета двадцать тысяч рупий и отдать дочери Рани на похороны. Кришан не догадывался, что у бабки есть деньги: видимо, она долгие годы откладывала их со своей скромной ежемесячной пенсии, которую получала за мужа, учителя в их деревне в Джаффне. Кришан с удивлением выяснил, что у бабки, оказывается, есть свой

счет в банке, что она внимательно следит за тем, сколько там денег, но еще больше его удивил ее щедрый жест: он уже привык, что она в старости сделалась эгоистична, как ребенок. Он знал, что бабка сблизилась с Рани, ведь они почти два года проводили вместе едва ли не каждый день, но тут вдруг понял, что общались-то они в основном когда его не было дома, когда он занимался другими делами, и, слушая накануне, как бабка то и дело вспоминает о Рани, Кришан осознал, что понятия не имел, как тесно они сошлись.

Платформа задрожала под его ногами, сперва слабо, потом сильнее, Кришан посмотрел направо и увидел медленно прибывающий поезд. Снаружи он был тускло-красный, в давних пятнах ржавчины, сажи, смазки, не новый состав с локомотивом обтекаемой формы, приобретенный в кредит у Китая, а старый, тяжелый, коробкообразный поезд из тех, что десятки лет назад покупали в Индии. Все, кто сидел или стоял на платформе, будто бы в полусне, мгновенно схватили сумки и поспешили к вагонам, возбужденные резким запахом дизеля, но Кришан, не шелохнувшись, провожал взглядом заграничное семейство, пробиравшееся сквозь толпу, трое детей вяло плелись за родителями к голове состава.

Дождавшись, пока они исчезнут из вида, Кришан неуклюже поднялся, набросил рюкзак на плечо и зашагал к вагону второго класса, в который купил билет. Забрался по вертикальной лестнице в вагон и, сощурясь в резком флуоресцентном свете купе, проследовал к своему месту — оно, к его удовольствию, оказалось у окна. Сидевший возле прохода парнишка лет двадцати с небольшим поднялся с улыбкой и пропустил Кришана; судя по виду, парнишка был сингалец, а это значило, радостно подумал Кришан, что он, скорее всего, выйдет где-то на юге и, может статься, остаток пути соседнее место будет свободно. Кришан уселся, положил рюкзак на колени и уставился в окно, слушая крики торговцев, которые сновали по опустевшей платформе и сквозь открытые окна вагонов предлагали пассажирам чай, кофе, арахис. Не попробовать ли уснуть, подумал Кришан, поскольку ночью проспал всего часа три-четыре, но решил бодрствовать, несмотря на усталость, чтобы как можно дольше сохранить спокойную сосредоточенность, владевшую им с пробуждения. Он достал из рюкзака книгу, которую захватил с собой, — об индийском милитаризме и оккупации Кашмира, он давно собирался ее прочесть, но за последние недели

осилил не так уж много. Кришан бездумно листал книгу (главным образом для того, чтобы послушать шелест страниц, а не чтобы найти место, на котором остановился), когда наконец из глубины состава донесся громкий лязг и вагон содрогнулся — знакомый, но все равно удивительный звук, который означал, что поезд вот-вот тронется, и происходил, догадался Кришан, оттого, что наконец отпустили тормоз, с силой давивший на колеса. Поезд чуть дернулся, замер на несколько секунд и, покачиваясь, тронулся вперед. Флуоресцентный свет в вагоне погас, все окутали синие рассветные сумерки, и, обрадовавшись, что почитать не удастся, Кришан отложил книгу и откинулся на спинку сиденья; поезд отходил от платформы. Тонкий пол вибрировал под ногами, оконные стекла дрожали в рамах, колеса стучали по рельсам все ритмичнее: состав набирал ход. Кришан впервые ехал на север на поезде и, глядя на заброшенные вагоны и захламленные мастерские у вокзала, на лачуги, тянущиеся по обеим сторонам от рельсов, странно безлюдные в маленьких ярких кружках света от встречающихся там-сям фонарей, он вдруг почувствовал, несмотря на усталость и печальную цель поездки, как в душе зарождается предвкушение, то же чувство

возможности, какое всегда охватывало его, когда он ехал куда-нибудь долго по железной дороге, — ощущение, будто бы он оставляет позади все, что его сдерживало и ограничивало, а сам движется в неопределенное большое будущее.

Он уже несколько лет так не радовался путешествию, поскольку, хоть и часто перемещался между севером и югом, когда работал на северо-востоке, обычно все-таки ездил на автобусе. Поезда запустили только в прошлом году; во время войны северный участок железнодорожных путей был уничтожен, да и автобусом все равно было удобнее, быстрее, дешевле и проще, даже если покупаешь билет в последнюю минуту. Правда, поездки на автобусе действовали на нервы: на выезде из Коломбо машины еле ползли или стояли в пробках, особенно автобусы — из-за своей громоздкости и узости столичных улиц. Водители автобусов вечно нервничали, с силой сжимали руль и рычаг переключения передач, постоянно давили на педали, то вдруг ускорялись, то тормозили, бесцельно пытаясь обогнать более медленные машины; водителями двигало смутное нетерпение как можно скорее закончить маршрут, хоть это и невозможно: как ни гони, а время толком не выгадаешь даже в самой долгой

дороге. Постоянное разочарование, невольно передававшееся и пассажирам, казалось, лишь подзадоривало водителей, побуждало их лихачить, обгонять на поворотах и по встречной полосе, несмотря на приближающиеся автомобили; именно разочарование, несомненно, служило одной из главных причин дорожных аварий, каждый день происходивших в стране. Кришан понимал, что почти вся жизнь водителей проходит в таком состоянии, и, представляя, как они ночью лежат в постели — сна ни в одном глазу, после целого дня за рулем раздражение и напряжение не отпускают, — он порою гадал, что им снится, если все-таки удается уснуть: быть может, им видятся широкие пустые дороги с ровным асфальтом, каких наяву не найти, дороги, уходящие за горизонт, по которым можно лететь вечно, без препятствий и без конца, сколько душе угодно.

Не то путешествия по железной дороге: даже если поезда задерживались или ломались, в пробках они не стояли, не требовали ни напряжения, ни усилий, а легко и неумолимо переносили пассажиров в пункт назначения. Глядя на мелькающие в темноте очертания города, Кришан вспоминал, как ездил на поезде в Индии: на каникулах в университете у него появлялась

возможность вырваться из Дели, увидеть другие части страны настолько большой, что она казалась бескрайней. Чаще всего в таких путешествиях он сидел или лежал на полке, читал, слушал музыку или просто смотрел в окно на безлюдные сельские полустанки; в вагон сквозь открытые окна и двери врывался знойный ветер, и Кришан дышал воздухом мест, мимо которых проезжал, впитывал их ароматы, словно бы причащаясь к уносившимся прочь городишкам и деревням. Ветер продувал вагон насквозь, и Кришану казалось, будто кто-то его зовет, он то и дело выходил в тамбур, вставал в углу и, убедившись, что никто не видит, прикуривал сигарету и открывал одну из тяжелых дверей, одной рукой цеплялся за дверь, чтобы не выпасть в проносящийся мимо пейзаж, а второй держал сигарету на уровне груди, чтобы никто из проходящих за его спиной не увидел, что он курит. Подставив лицо душистому теплому ветру, он смотрел наружу, на бескрайние просторы полей, лесов и подлесков, на равнины — порой они тянулись за окном по нескольку часов кряду, — и в такие мгновения чувствовал нечто сродни освобождению: если и не вполне освобождение, то что-то близкое к нему. В такие минуты каза-

лось, будто он навеки застыл в блаженном, но непрестанно ускользающем пространстве между желанием и удовлетворением желания, в том пространстве себя, где уже не терзаешься из-за отсутствия того, что считаешь необходимым для собственного спасения, но еще не печалишься из-за разочарования, неизменно сопряженного с исполнением желания, ибо сильное желание, то желание, которое словно бы исходит из глубины твоей души, всегда связано с уверенностью или надеждой, что достижение желаемого — будь то человек, ситуация или место — совершенно все переменит, положит конец вожделению и нужде, усилиям и борьбе, что оно каким-то образом остановит медленное и печальное течение времени. В юности самые пылкие наши желания представляются нам чем-то вроде горизонта, нам кажется, будто жизнь делится на две части — то, что по эту сторону горизонта, и то, что за ним, — будто бы нам достаточно лишь достичь горизонта, преодолеть его, как все тут же изменится, как мы раз навсегда переступим пределы привычного мира, но, конечно же, никакие пределы мы не переступаем — факт, который начинаешь ценить лишь с возрастом, когда сознаешь, что жизнь по ту сторону от желаемого течет, как и преж-

де, что в ней мы встаем, идем на работу, едим, спим, и медленное течение времени никогда не прервется, — когда сознаешь, что горизонт так и останется недостижимым, потому что жизнь продолжается, мгновения сливаются воедино, и то, что ты мнил горизонтом своей жизни, оказывается очередным клочком земли.

Во время долгих поездок на поезде Кришан часто вспоминал «Облако-вестник»[8], знаменитую поэму на санскрите, которую прочел в переводе, когда только приехал в Индию, когда еще не понимал, насколько тесно санскрит связан с мифологией индийского национализма, когда еще не замечал обыденного расизма, с каким обитатели Северной Индии относятся к людям, чья кожа темнее, — таким, как Кришан; не то чтобы этот расизм коснулся его сколько-нибудь существенно, однако уехать из Индии Кришан решил в том числе и поэтому. Образность и язык поэмы тронули его до глубины души, и, глядя сейчас, как постепенно редеют утренние сумерки, он поймал себя на том, что вновь думает о мучительном желании, так изысканно выраженном в стихах.

---

[8] Примечания: 8

«Мегхадута» — лирическая поэма на санскрите. Автор — знаменитый древнеиндийский драматург и поэт Калидаса, живший приблизительно в IV–V вв. н. э.

Главный герой поэмы — безымянный якша[9], божественный или полубожественный дух, слуга бога богатства, обитатель Алаки[10], прекрасного города в предгорьях Гималаев; в наказание за то, что якша пренебрег своими обязанностями, бог богатства изгнал его из Алаки. Якша вынужден был уйти далеко на юг, на равнины Центральной Индии, за тысячи миль от прохладного климата своих родных краев, в засушливые, выжженные солнцем пустоши; автору и его знатным читателям этот регион, должно быть, казался окраиной цивилизации, где царит непроглядный мрак. В начале поэмы якша уже достаточно долго скитается в одиночестве по унылой и дикой местности, постоянно думает о городе, откуда его изгнали, и о жене, которую так любил и в разлуке с которой так исхудал от тоски, что, по словам рассказчика, браслеты соскальзывали с его истонченных запястий. Стоял конец июля или начало августа, время, когда муссонные дожди по пути с южного побережья на север наконец достигают равнин

---

[9] Примечания: 9

Якша (яккха) — в индуизме, буддизме и джайнизме — одна из разновидностей природных духов.

[10] Примечания: 10

Алака (Алакапура) — мифический город, где обитает бог богатства Кубера.

Центральной Индии; в исступленном отчаянии взобравшись на вершину горы, якша заметил одно-единственное густое темное облако с юга, оно приближалось к нему, опустилось так низко, что почти коснулось вершины, и остановилось, словно сделало передышку. Глядя на облако, якша надолго задумался, не в силах сдержать слезы, и наконец осознал: облако это — предвестник муссонных дождей и, по всей вероятности, продолжит свой путь на север до самых Гималаев, а следовательно, догадался якша, можно попросить его передать весточку жене. Люди мыслящие, бесспорно, осознают, отмечает повествователь в пятой строфе, что облако лишь скопление пара, света, воды и ветра, то есть предмет, к которому бессмысленно обращаться с просьбой, но те, кто охвачен любовью, не понимают, что разумно, что нет: тому, кем владеет всепоглощающая страсть, мнится, будто весь мир населен существами, чья единственная цель — помочь или помешать его любви. Бедного якшу так захватила возможность пообщаться с женой, продолжает повествователь, что, обратив взор к небу, он заговорил с облаком, отметил его благость и красоту и спросил, не согласится ли оно по пути на север отнести весточку его жене.

Все это происходило в первых шести строфах, бóльшую же часть поэмы, сто пятнадцать строф, занимают подробные объяснения якши, как облаку найти его город и жену, объяснения, которые, по уверениям якши, проведут облако через величайшие, богатейшие города субконтинента, позволяя останавливаться у полноводных рек и в густых джунглях, дабы передохнуть и набраться сил, напитаться водою, восстановиться, сохранить целостность формы и продолжить путь на север. Оттуда, где мы сейчас находимся, говорит якша облаку, тебе нужно направиться на север, потом взять чуть западнее, к горам Виндхья, склоны их поросли манговыми деревьями и цветами холларены; там под приветственные крики слезливых павлинов облако вдосталь напитается водой из истока реки Нармады. Быть может, тебе захочется остаться в горах ненадолго, продолжает якша, но постарайся не задерживаться, поскорее продолжи путь, ведь на него потребуется несколько недель. Устремившись из Виндхьи на север, облако достигнет Дашарны, где на садовых изгородях белеют цветы пандана, где на ветках деревьев строят гнезда вороны, где на окраинах в рощах сизигиумов обитают стаи фламинго. В здешней столице, Видише, облако напьется вод

реки Ветравати, добавляет якша, и продолжит дорогу на север, уклонясь ненадолго с пути, чтобы увидеть священный город Удджайн и дворец с террасами, куда утренний ветер доносит хмельную песнь журавлей, где веют пьянящие ароматы цветущих лотосов, — словом, город настолько прекрасный, что кажется подобием земного рая. В Удджайне облаку непременно следует посетить святилище Шивы и провести там ночь, попросив жену свою молнию время от времени тихонько спускаться с неба и освещать путь женщинам, что тайком пробираются к любимым. Из Удджайна облаку надобно устремиться на север, мимо реки Гамбир в Раджастане, к Девагири, и там помолиться в храме Сканды, сына Шивы. Оттуда продолжить путь к реке Чамбал, где можно вновь отдохнуть и напиться водой, а оттуда лететь на северо-восток мимо города Курукшетры, где в древности была битва, описанная в «Махабхарате». Потом направиться на восток, к городу Канакхале, наставляет якша, где облако сможет напиться из великого Ганга, и продолжить свой путь до истока Ямуны, горы, белой от снега, где камни источают мускусный запах оленей и бамбук слабо качается на ветру. На последнем этапе пути облаку следует устремиться на север вдоль

склонов Гималаев до самой горы Кайлас, дома Шивы, — снег на ее склонах белый, как свежий срез на слоновой кости; оттуда облаку нужно лететь к водам озера Манасы[11], изобилующим золотыми лотосами, где мглистый ветер колышет паутинки на деревьях, что исполняют желания.

А с берегов озера Манасы, продолжает якша, обращаясь к облаку, ты наконец-то увидишь долгожданный город Алаку и сразу его узнаешь по величественным дворцам, где полы инкрустированы драгоценными камнями, и по стремящимся ввысь замкам, башни которых целуют небо. Сам город лежит в ложбине, в нем множество просторных парков, где одновременно цветут зимние, осенние, весенние и летние цветы, — когда Кришан впервые читал поэму, его это поразило: казалось, рассказчик подразумевает, что все времена года слились воедино, время застыло или заключает в себе сразу все времена; казалось, рассказчик подразумевает, что в обыденной жизни противоречащие друг другу желания увлекают нас в разные стороны, а потому в тех краях, что представляются нам земным раем, эти противоречащие желания

[11] Примечания: 11

Речь о священном озере Мансаровар (Мапам-Юмцо) на Тибетском нагорье.

примиряются друг с другом, разные и на первый взгляд несводимые воедино времена их исполнения сходятся вместе, объединяя тем самым наши обычно разобщенные души. Население Алаки, как описывает его якша облаку, состоит из мужчин и женщин — те и другие якши, — одержимых любовью и близостью, мужчины-якши беспрестанно принимают афродизиаки, украшают свои волосы цветами, похожими на отражения звезд, а женщины-якшини в своих личных покоях, раздираемые смущением и страстью, бросают пригоршни порошка в лампады, пламя которых вздымается высоко, и возлюбленные якшинь раздевают их. Мой дом, продолжает якша, находится к северу от чертогов бога богатства, узнать его легко: близ его арочных ворот растет молодое деревце мандара.[12] Во дворе — бассейн со ступенями, выложенными изумрудом, золотые лотосы исчерчивают его воды; сбоку бассейна — рокарий в золотой опояске из райских бананов, там любит проводить время моя жена; в центре рокария — золотой насест, где вечерами устраивается на ночлег павлин. По этим приметам ты узнаешь мой дом, продолжает якша, а ежели

[12] Примечания: 12
Коралловое дерево (Erythrina stricta).

подберешься поближе и украдкой заглянешь в окно, ты увидишь мою жену, истосковавшуюся в долгой разлуке. Лицо ее, некогда столь прекрасное, увяло, подобно лотосу, тронутому морозом, опухло от слез, нижняя губка побелела от вздохов; когда ты увидишь ее, она, наверное, будет рисовать мой портрет, поведал облаку якша, или рассказывать обо мне майне[13] в клетке, или наигрывать на лютне песню, напоминающую обо мне, орошая струны слезами. Должно быть, она считает дни и недели до конца моего изгнания или лежит на кровати и вспоминает, как мы предавались страсти: именно так, поясняет якша, многие влюбленные коротают время в разлуке. Обязательно дождись ночи, наставляет якша облако, и лишь тогда извести мою жену о своем появлении, ибо ночью ей особенно одиноко, ночью ей особенно нужны мои слова. Опустись к окну ее покоев, и если жена моя спит, не буди ее до второй стражи: вдруг ей приснился я. Но в начале второй стражи разбуди ее прохладным ветром, говорит якша — и только в этой части поэмы, восемьдесят девять строф спустя, сообщает облаку, что именно нужно передать жене.

---

[13] Примечания: 13
Разновидность скворца.

Сперва облако должно сообщить жене якши, что его послал ее муж, тогда она непременно будет слушать внимательно, ведь для той, кто страдает в разлуке с любимым, получить от него известие — все равно что свидеться лично. Скажи ей, наставляет якша облако, что муж ее жив и здоров, беспокоится за нее и постоянно о ней размышляет. Образ ее является ему всюду: руки ее — в тонких лозах, кокетливые брови — в ряби ручья, — и он думает постоянно, как скоротать оставшееся время изгнания. Он просит ее не отчаиваться и ни в чем его не подозревать, клянется вернуться сразу же, как получится; на этом кончается краткая весточка якши, весточка, которая, после пышного изложения пути, который предстоит проделать облаку, после тщательных наставлений, как отыскать Алаку и как по прибытии в город найти дом и жену якши, поражает читателя удивительным легкомыслием. Словно якша, нарисовав подробную литературную карту половины субконтинента, поэтически описав величайшие города и природные богатства, осознал, что жене ему сказать, в сущности, нечего, что словам не преодолеть расстояние между ним и ею, расстояние не только географическое, но духовное и временно́е, расстояние между слу-

чившимся и всем тем, что переменилось с тех пор, как они расстались. Высказав эту весточку, якша поднимает взгляд на облако — за время его монолога оно, разумеется, не произнесло ни слова, — и выражает надежду, что облако передаст его весточку без промедления, впрочем, присовокупив, что не расценивает его молчание как отказ. Просьба моя необычна, говорит якша облаку, но я надеюсь, ты сжалишься надо мною, а я тем временем буду молиться, чтобы тебя никогда не разлучили подобным манером с женой твоей, молнией. С этой последней фразой якша заканчивает монолог, и поэма тоже подходит к концу, хотя, когда Кришан вспоминал последние ее строки, в голову ему невольно приходил образ, навеянный окончанием поэмы, — образ якши, который смотрит в небо с одинокой вершины горы, в то время как ветер с юга несет муссоны; образ отчаявшегося, стосковавшегося по дому, божественного или полубожественного существа, беспомощно наблюдающего, как облако летит на север, все дальше и дальше, постепенно растворяется, лишаясь телесной целостности, тает, а с ним и весточка, доверенная ему с такой любовью, и наконец беззвучно испаряется — так желание рассеивается в тоске — в небытии горизонта.

Вспоминая образ влюбленного, тоскующего в разлуке, — день занимался за окнами поезда над мелькающими пейзажами, над дешевыми домишками и лачугами, пролетавшими мимо, над буйной растительностью, — Кришан вновь подумал о том, как почти четыре года назад, за год до того, как он покинул Дели, они с Анджум ездили на поезде в Бомбей; это короткое, но отчего-то показавшееся ему вечностью путешествие стало растянутой во времени кульминацией тех ни с чем не сравнимых месяцев, что они провели вместе, и вместе с тем — хоть расстались они не сразу после поездки — именно тогда он впервые почувствовал, что вместе им быть, пожалуй, недолго. Он до сих пор помнил, как Анджум в бежевом шальвар-камизе, скрестив ноги и опершись подбородком на руки, сидела на полке напротив, и глаза ее цвета красного дерева казались светлее и ярче в лучах солнца, сочившихся в окно; он до сих пор помнил, как она то и дело поглядывала на него, рассказывая о Джаркханде, о маленькой деревушке, в которой они с коллегами-активистами проводили для женщин, работавших в шахте, семинар о правах трудящихся. До того утра, когда Анджум с Кришаном встретились на вокзале, они не виделись

три недели, почти не созванивались и не переписывались: Анджум не из тех, кто станет писать и звонить без веской на то причины. Обнявшись небрежно и наскоро, они зашагали по платформе, ничем не обнаруживая свои чувства; каждый из них сознавал физическое присутствие другого, но после сдержанного приветствия не делал попыток ни прикоснуться, ни обняться, точно они заключили молчаливое соглашение строго держать дистанцию в настолько людных местах. Они купили билеты на верхнюю и нижнюю боковые полки, дабы не делить неловкую тесноту четырехместного купе с двумя незнакомцами, которые всю дорогу будут гадать, женаты Анджум с Кришаном или нет, но на боковых полках вдоль прохода они были у всех на глазах: их видели и те, кто ехал в купе напротив, и все, кто шел по вагону. Кришан пытался слушать рассказ Анджум о деревне, которая, как ни странно, утопала в зелени, притом что Джаркханд всегда представлялся Кришану засушливым, — о том, как трудно живется тамошним женщинам, о том, что индийские политики правого толка, с подозрением относившиеся к их деятельности, велели своим людям следить за работой Анджум и ее коллег. Пока Анджум была в отъезде, Кришан едва ли не

каждый день гадал, как она там, о чем думает, что чувствует, делает, говорит в этой маленькой деревушке в том штате, где он никогда не бывал, но сейчас, сидя напротив Анджум, встретившись с нею после трехнедельной разлуки, он поймал себя на том, что уделяет больше внимания тому, как она двигается, а не ее словам, — тому, как она то и дело приглаживает свои короткие волосы, как вращает кольцо на среднем пальце левой руки, как подтягивает рукава, а они почему-то все падают ей на запястья. Его будоражило, что он сидит так стесняюще-близко и вместе с тем так далеко от той женщины, с кем они соединялись так часто и разнообразно, от той самой женщины, от которой наедине он не мог или не хотел оторваться, даже чтобы сходить в туалет или ответить на звонок; быть может, из-за этой-то тесноты они в разговоре избегали встречаться глазами, невозможность коснуться друг друга сообщала крохотному пространству, разделявшему их тела, ощутимый эротический заряд, так что им — вопреки, но и благодаря этой тесноте — казалось, будто они касаются друг друга, хотя на деле они только смотрели друг на друга, точно ласкали друг друга взглядами при посторонних, так что даже зрительный контакт смущал, по-

добно избыточной близости, и не только потому что соседи могли догадаться о том, в каких они отношениях, но и потому, что обнаруживал несерьезность их попыток поддерживать разговор, разоблачал, до какой степени разговору далеко до того, чего они на самом деле хотят друг от друга, сидя лицом к лицу в этом поезде, что с тяжелым грохотом ползет по равнине.

Чуть погодя, когда они пообвыклись в дороге и прочие пассажиры перестали на них глазеть, неловкость исчезла, они приспособились к новому положению, смирились с тем, что сидят рядом, но затеряться друг в друге не могут — в конце концов, такое уже бывало, когда они назначали встречу не дома у Кришана или Анджум, а в общественном месте; зачастую в подобной отсрочке крылось свое особое удовольствие. Поезд катил на юг и на запад, они разговаривали обо всем на свете — о чем именно, Кришан уже не помнил, — и вскоре беседа иссякла, точно им больше нечего было друг другу сказать, Кришана это встревожило, но потом он сказал себе: так и должно быть, им предстоит провести в поезде двадцать один час, невозможно все время болтать — и эта мысль в некотором роде ознаменовала для него начало их совместного трехнедельного путешествия, то

мгновение, когда молчание как разновидность общения взяло верх над речью. Они пообедали жирной самосой, купленной на вокзале, и потом весь теплый ленивый день читали или смотрели в окно на пролетающие мимо пейзажи, слушали ритмичный стук колес по рельсам, время от времени прерывали молчание, чтобы поделиться прочитанным, мыслью или историей, пришедшей на ум. Кришан усердно старался читать книгу, которую захватил в дорогу, но обнаружил, что чем дальше, тем труднее сосредоточиться, читал и перечитывал одни и те же строчки, а мысли его снова и снова возвращались к Анджум; он гадал, чувствует ли она к нему то же, что и он к ней, — то же, что чувствовала до трехнедельной разлуки. Вчуже ему казалось, будто в ее отношении к нему совершилась еле заметная, но все же ощутимая перемена, хоть Анджум и правда обрадовалась ему на вокзале, хоть она и правда с удовольствием рассказывала ему о том, как провела время в Джаркханде, делилась по меньшей мере самым важным из того, что там было. Кришан глядел на нее не таясь — она так увлеклась книгой, что этого не замечала, — и невольно подозревал, что чувства ее изменились, что ее уже, как когда-то, не тянет неудержимо отложить

все дела, чтобы они с Кришаном наслаждались друг другом, в противном случае почему они до сих пор сидят так далеко друг от друга, почему не пытаются, пусть даже исподволь, коснуться друг друга хотя бы пальцами ног?

Едва ли Анджум опасается неодобрительных взглядов соседей, подумал Кришан, она не из тех, кого волнуют подобные вещи, и всегда готова дать отпор тем, кто посмел осудить ее речь, поведение или одежду. Нет, дело наверняка в том, что чувства ее изменились; быть может, в Джаркханде она встретила другого, такого же активиста, мужчину или женщину, чей образ жизни ей ближе, нежели образ жизни Кришана, с кем у нее больше общего, нежели с ним. Быть может, она никогда и не чувствовала к нему того же, что он чувствовал к ней, быть может, он вообще заблуждался, полагая, будто чувства его взаимны, ведь в те четыре месяца, что они знакомы, она упорно отказывалась хоть как-нибудь определить их отношения, отмахивалась от него, когда он пытался сказать ей о своих чувствах, закрывала глаза, качала головой, улыбалась игриво и немного насмешливо, точно он мог бы и сообразить, что в таких вот признаниях нет нужды, что такие признания всегда либо ложь,

либо пошлость, либо манипуляция. В принципе, он разделял подобную точку зрения, ему хватало здравого смысла, чтобы с подозрением относиться к шаблонным фразам и банальным излияниям, которыми свежеиспеченные любовники пытаются унять свои страхи, — к фразам и излияниям, которые, если ими злоупотреблять, неизбежно обытовляют любовь, сдерживают и ограничивают ее размах. Правда, его с самого начала смущало, что Анджум так настойчиво избегает подобных признаний, тем более что он знал, с каким упорством она следует своим убеждениям, а оттого мысль о безымянности их связи тревожила его еще сильнее, когда он глядел на сидящую перед ним Анджум: та с увлечением читала книгу. В отсутствие конкретных слов и жестов, обладающих основательностью, за которую, в отличие от невысказанных чувств можно ухватиться, Кришан поймал себя на том, что сомневается во всех своих убеждениях о том времени, что они провели вместе, словно его воспоминания об этом времени ошибочны или не слишком точны, словно этого времени не было вовсе, словно это был лишь сон и с женщиной, что сидит напротив, они не знакомы. Кришан притворился, будто, подобно Анджум, увлекся чтением,

сам же перебирал в голове последние месяцы, пытаясь найти в этом неспешном каскаде звуков и образов тот момент, который недвусмысленно опровергнет его сомнения, позволит ему отмахнуться от отчуждения, ощущавшегося сейчас между ним и Анджум, как от иллюзии, как от заурядной и преходящей неловкости, обычной между влюбленными после разлуки.

Впервые он увидел Анджум месяцев пять или шесть назад, на панельной дискуссии в Дели, Кришан пришел на нее со своим соседом Радживом; темой панельной дискуссии было отношение современного индийского государства к квир-культуре[14]: как индийские националисты, подобно своим предшественникам, белым правителям Индии, замалчивают или искореняют квир-культуру на субконтиненте. Дискуссию задержали по техническим причинам, Кришан с Радживом стояли в садике возле здания, молча курили, как вдруг в ворота вошла Анджум, высокая, длинноногая, короткостриженая, с сияющей темной кожей, в джинсах и широкой свободно сидевшей на ней рубахе. С нею были еще двое, парень и девушка, девушка симпатичная, но

[14] Примечания: 14

Международное общественное движение «ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России.

ничем не примечательная, да и парень самый обычный. Все трое вошли в здание, выяснили, что дискуссия еще не началась, и тоже вышли в сад покурить. Кришан ломал голову, что же сказать Радживу, чтобы казалось, будто он увлечен разговором, но оба они — хоть Радживу и нравились только мужчины — время от времени невольно косились на Анджум, на то, как изящно она подносит к губам сигарету и потом убирает руку, на ее острые надменные черты и мальчишескую грацию, на ее осанку и жесты, внушавшие странное ощущение, будто она не от мира сего. Когда дискуссия началась, Анджум с друзьями уселись на полу перед сценой, и Кришану с Радживом из глубины зала их было не видно. Но, даже не видя ее, Кришан все равно гадал, как она реагирует всякий раз, как кто-нибудь из участников говорит что-нибудь интересное, улыбается ли, кивает или сохраняет бесстрастность, хмурит ли брови возмущенно или с одобрением, точно собственное мнение о дискуссии представлялось ему нелепостью или же дурновкусием, если не совпадало с ее.

Когда дискуссия завершилась, слушатели принялись хаотично выбираться из зала; увидев в толпе Анджум, Кришан попытался незаметно

подвести Раджива поближе к тому месту, где стояла она с друзьями. Кришан с наигранной непринужденностью прислонился к стене и вновь притворился, будто увлекся разговором, направив украдкой все умственные усилия на то, чтобы разгадать природу отношений между Анджум и ее симпатичной подружкой — Кришан не сомневался, что они еще и любовницы. Он курил сигарету за сигаретой, болтал с друзьями Раджива, стараясь ничем не выдать рассеянности, то и дело поглядывал на Анджум и ее собеседников: все они казались ему симпатичнее и интереснее тех, с кем сейчас общался он сам. Он стоял достаточно далеко и не слышал, что говорила Анджум, но видел: она сознает, что привлекает внимание; в правой руке Анджум держала сигарету, левую то упирала в бок, то принималась ею жестикулировать, а когда смеялась, чуть запрокидывала голову, и вообще держалась настолько непринужденно, будто бы находилась в гостях у друга, а не в общественном, пусть и укромном месте. Кришан курил то ли третью, то ли четвертую сигарету, когда Анджум ушла, а с нею двое ее друзей и еще два парня; Кришану почудилось, будто из него беззвучно, однако болезненно извлекли нечто важное. С уходом Анджум ничего не перемени-

лось, но происходящее в саду вдруг показалось Кришану пустым и случайным, а стоящие рядом лишились для него всякого интереса. И дело даже не в том, что он так и не познакомился с Анджум, не присоединился к ее разговору с друзьями: он по опыту знал, что эти приемы не для него, он в ту пору был еще слишком неловок и застенчив, чтобы в такой ситуации подойти к новым людям. Ему хотелось, чтобы она по-прежнему была рядом, чтобы они оставались в одном пространстве, точно от одной лишь ее близости могло случиться нечто значимое: наверное, примерно так в восточноазиатской традиции буддизма, школе Чистой земли — Кришан тогда много о ней читал — те последователи, кто считал, что раскрыть в себе природу Будды им не под силу, не пытались достичь нирваны, а довольствовались физической близостью к Будде, старались занять место в диковинном силовом поле, окружавшем его повсюду, куда бы он ни шел; это пространство считалось своего рода раем и, согласно традиции, лучше пребывания в нем для человека могло быть только просветление.

В следующие недели он так и не сумел позабыть Анджум, строгую прелесть ее лица, ее темную кожу несомненной южанки, то, как Анджум

вошла внезапно и молчаливо в ворота здания и в его мысли. Образ ее нежданно всплывал в его сознании в различные мгновения дня, Кришан вспоминал, как она двигалась в тот вечер, вспоминал ее странную эфирность и легкость, словно она существовала не в обычной атмосфере, а в какой-то другой среде, словно тот путь, который она прокладывала каждый день, давался ей без усилий, сопротивления и забот: она двигалась по жизни так же плавно, беспрепятственно и целенаправленно, как ныряльщик разрезает воздух, прежде чем беззвучно вонзиться в воду и скрыться в ее глубине. Разумеется, ему и прежде случалось встречаться с такими людьми, пусть нечасто, но время от времени, и с девушками, и с парнями; некоторые были очень красивы, но в каждом из них было нечто такое, что возбуждало в Кришане желание не только двигать бедрами. Порою он замечал таких людей в метро, супермаркетах или просто на улице — людей, которые будто бы материализовались посреди самой обычной жизни; черты их угловаты, остры, тела стройны и изящны, проницательный взгляд устремлен поверх людской толчеи, точно ни один из тех, кого они видят, не способен вызвать у них любопытства, точно все, что им только нужно,

уже есть в том месте, куда они направляются; людей, обладающих тем же качеством, что и Анджум: все они словно бы принадлежали к иному, непреходящему миру — за неимением лучшего слова Кришан почитал это качество красотой. Такие люди всегда привлекали его внимание, вынуждали оставить дела, обернуться, захотеть последовать за ними туда, куда они идут, но Кришан с болью в сердце смотрел им вслед, и они скрывались в толпе, а вскоре покидали и его мысли. Трудно сказать, почему он, вопреки обыкновению, не мог перестать думать об Анджум. Раджив обмолвился, что видел ее и раньше, на других квир-мероприятиях, их даже знакомили, но Раджив побоялся с нею заговорить; быть может, она занимала мысли Кришана, потому что он смутно чувствовал: они люди одного круга и еще наверняка встретятся. Узнав от Раджива, как ее зовут, он почувствовал себя так, будто установил настоящую прочную связь и эта ниточка рано или поздно приведет его к ней; первым делом он попытался найти ее в «Фейсбуке»[15], пересмотрел страницы всех Анджум, списки друзей десятков друзей Раджива: в ту пору он еще не знал, что

[15] Примечания: 15

Социальная сеть, принадлежащая Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.

Анджум не пользуется социальными сетями. Он мечтал, как наткнется на нее в каком-нибудь случайном месте — по пути в университет или из университета, или в компании приятелей, воображал, как эта встреча полностью изменит всю его жизнь, а новая его жизнь в определенном смысле будет вне времени. Он так искренне верил в возможность нечаянной встречи, что, не обнаружив Анджум в баре, на вечеринке, дискуссии или политическом мероприятии, чувствовал себя обманутым и, уверившись, что Анджум здесь нет, не без горечи терял интерес к происходящему. Даже забавно, как близко желание в данном случае оказывалось к неудаче, как желание, подобно утрате, распарывало ткань обыденной жизни, из-за чего заведенный порядок и ритм, управлявший нашим существованием так полно, что представлялся бесспорным, негласно лишался строгого отблеска необходимости, оставляя нас едва ли не в недоумении, не в силах участвовать в жизни. Можно изо дня в день следовать нити привычки, с головой погружаться в учебу или работу, общаться с друзьями, родственниками и коллегами, сжимать эту нить обеими руками, дабы не сбиться с пути, а потом в одно прекрасное утро, день или вечер, попивая чай на работе или

направляясь в выходные в гости к другу, вдруг мельком увидеть человека или место, да пусть даже образ человека или места, но и реальное, и воображаемое предполагает иные возможности, наводит на мысли о совершенно отличной жизни, о жизни, которой мы могли бы жить или еще поживем, и внезапно та жизнь, которую мы вели долгие месяцы или годы, жизнь, до сего момента казавшаяся полноценной, удовлетворительной или хотя бы терпимой, с беззвучным щелчком выключателя представляется нам бессодержательной и пустой, не имеющей ни малейшего отношения к тем, кем мы себя мним или желаем быть.

Сейчас Кришану было трудно понять, почему его так тянуло к Анджум в ту пору, когда он еще ничего о ней не знал: ни что она родом из Бангалора, ни ее материального положения, ни политических взглядов, ни того, что она не любит фотографироваться, ни что спит без подушки, ни что по утрам принимает холодный душ, — не знал он даже того, нравятся ли ей мужчины. После той первой встречи его мыслями завладела не столько сама Анджум, сколько ее образ, причем образ без подписи, которая содержала бы хоть самые основные сведения; Кришан то-

мился и тосковал о той, о ком не знал ничего, но воображал, будто она каким-то чудом может его спасти. В известной степени его влечение к Анджум ничем не отличалось от того, что чувствуют многие люди, чаще мужчины, но порою и женщины, встретив того, чья внешность, как им кажется, воплощает все их мечты; они проецируют свои желания на этого человека и удивляются, когда понимают — недели, месяцы или годы спустя, — что живой человек отличается от нарисованного ими образа, что у живого человека есть прошлое, есть индивидуальность, и они непременно заявят о себе; это открытие наполняет их возмущением, будто бы их обманули, ввели в заблуждение, и бывает такое, что они манипуляциями, уговорами или силой вынуждают ничего не подозревающего человека соответствовать их мыслеобразу. Однако Кришан понимал, что его одержимость Анджум — не только идеализация, ведь если образ в его уме был всего лишь слепой проекцией его желаний, тогда почему, чем лучше он узнавал ее, тем сильнее желал, и как так получилось, что все, что он узнавал о ней, в конечном счете развивало и усложняло образ в его уме, не вступало с ним в противоречие, а пополняло его, придавало ему важность и вес, усугубляло

желание, а не ослабляло его? Получается, то была не просто проекция или идеализация, пусть даже после той первой встречи он толком ничего не знал об Анджум, ведь и по первому впечатлению о человеке можно сказать многое, и многое можно понять даже с первого взгляда — по чертам лица, а их определяют не только кости черепа, но и мышцы вокруг щек, глаз и челюстей, все они вылеплены различно и в различной степени в соответствии с исполняемой функцией, каждое настроение и чувство требует определенной комбинации напряжения и расслабления различных частей лица, и проницательный наблюдатель сразу определит, в каком состоянии человек пребывает чаще — сосредоточенности или безразличия, меланхолии или восторга, скепсиса, вдумчивости или отчаяния. Понаблюдав за движением глаз, можно точно сказать, какое чувство человек испытывает чаще — самоуверенность или стыд, страсть, тоску или самодостаточность; по готовности к улыбке можно судить о том, насколько человек уязвим, по морщинам на лбу — насколько его снедает гнев или тревога, по осанке, походке, движениям рук — насколько человек энергичен, открыт чужому влиянию и сам готов влиять на кого-то, так что, быть может,

влечение к той, о ком Кришан не знал ничего, было обусловлено не столько проекцией или идеализацией, сколько зачастую почти пророческой природой взгляда, который в соответствующем свете и соответствующих обстоятельствах способен поведать столь многое о возможностях и наклонностях нашей натуры; может, еще и поэтому, когда отношения их закончились, Кришану порою задним числом казалось, что он знал это с самого начала, разглядел еще в ту первую молчаливую, одностороннюю встречу, но предпочел не замечать.

5

Через два месяца после той первой встречи Кришан узнал, что знакомые Раджива организуют кинопоказ, и всю неделю ждал с нетерпением, зная, что может встретить там Анджум. В Дели квир-мероприятия проходили чаще, чем в прочих крупных городах Индии, но все-таки довольно редко, поскольку проводить их было особенно негде и не на что, а потому они служили чем-то вроде места встречи или пункта сбора своих, куда люди приходят показать себя и тем самым заявить, что еще существуют. Показ устроили в небольшом офисном помещении в южной части Дели, в рабочее время там функционировала студия свадебной фотографии; Кришан с порога принялся искать взглядом Анджум, хотя и клялся себе, что не будет этого делать. Он стоял у входа, болтал со знакомыми, и всякий раз, как кто-то входил, Кришан косился на дверь; наконец показ начался, Анджум все не было, Кришан нехотя направился на место рядом с Радживом, упрекая себя за глупость и готовясь смотреть кино. Показывали независимый документальный фильм о маргинализированном сообществе транс-жен-

щин в Хайдарабаде — в Индии таких называют «хиджрами». На экране община готовилась к одному из главных праздников года; авторы фильма также затронули тему взаимоотношений между хиджрами и небольшой, относительно новой, но более мобильной общиной квир-активистов города. Постепенно фильм увлек Кришана — быть может, тем, что обманчиво близко изображал ту жизнь, о которой Кришан никак иначе и не узнал бы, и лишь в конце показа, когда он уже оставил всякую мысль об Анджум, Кришан вдруг заметил, что она сидит на полу в самом начале зала, неподалеку от двери, и свет от экрана играет на ее задумчиво склоненном лице. Кришан старался не отвлекаться от фильма, но обнаружил, что не может сосредоточиться, сердце его забилось быстрее, руки и ноги одеревенели. Всякий раз, как ему случалось заметить, что Анджум меняет положение, скрещивает или выпрямляет ноги, всякий раз, как она улыбалась или качала головой в ответ на происходящее на экране, в груди или животе у Кришана что-то екало, он ощущал, что не вытерпит еще два месяца до следующей встречи, и гадал, не заговорить ли с ней после показа или все-таки лучше выждать, поскольку, казалось ему, негоже выказывать интерес к

женщине в такой ситуации, в одном из немногих мест в Дели, существующих для поддержки менее распространенных разновидностей вожделения.

К его почти нескрываемой радости, оказалось, что Раджив знает кого-то из тех, с кем пришла Анджум, и после показа, к вящей радости Кришана, человек девять-десять, включая и их с Раджривом, уговорились пойти в гости — кто-то из них жил поблизости — и там накуриться. Кришан старался ничем не выдать восторга, хотя мысленно ликовал от того, как непринужденно пересеклись их пути; выслушав предложение пойти в гости, он лишь молча кивнул, от волнения и надежды не в силах заговорить ни с кем все те пятнадцать или двадцать минут, что они шли до квартиры. Весь вечер он старался не пялиться на Анджум дольше приличного — во-первых, не хотел ей навязываться, а во-вторых, не хотел, чтобы кто-то заметил его интерес к ней. Но всякий раз, как Кришан смотрел в другую сторону, он не мог избавиться от ощущения, что Анджум глядит на него, однако стоило ему обратить на нее взгляд, и выяснялось, что она смотрит в другую сторону, обычно на говорящего, со скептическим любопытством хмурит длинные густые брови, переводит взгляд с одного знакомого на другого; с

политических тем перешли на личные дела, дружеские подколки сменились сплетнями, время от времени разговор делился на части, но потом вновь становился общим. Взгляд Анджум словно бы выделял предмет ее внимания, и Кришану казалось, будто бы то, на что она смотрит, важнее всего остального, что человек, которого она слушает или с которым говорит, симпатичнее и интереснее прочих, точно взгляд Анджум делал предмет ее внимания не только значимым, но и реальным, точно в ее присутствии существовало лишь то, на что она смотрит. Она великодушно улыбалась, порой смеялась в ответ на чужие слова, время от времени вставляла в общий разговор замечания, шутки, возражения или оценки, все это Анджум высказывала с иронией и скепсисом, обусловленными, мнилось Кришану, не столько предметом беседы, сколько тем, что беседа как таковая не стоит ее усилий. Всякий раз, как она говорила, он, пользуясь случаем, изучал ее, радуясь предлогу посмотреть на Анджум, не привлекая к себе внимания, и тоже старался участвовать в разговоре — не только для того, чтобы Анджум его заметила, но и чтобы не чувствовать себя посторонним в этой комнате, где почти никого не знал. Вечер тянулся, гостей становилось все

меньше, оставшиеся укуривались все больше, Кришан все чаще встречался глазами с Анджум, то ли потому что под кайфом он осмелел, то ли потому что мы всегда ощущаем, когда на нас смотрят, поскольку взгляд обладает странной способностью притягивать внимание того, на кого обращен, независимо от того, рядом он или на другом конце просторной комнаты: будто бы, глядя на другого, признавая его присутствие, мы тем самым безмолвно просим или требуем ответного признания. В первый раз Кришан и Анджум отвернулись друг от друга поспешно — но не слишком поспешно, поскольку, если отвернулся слишком поспешно, значит, тебе есть что скрывать или у тебя имеется тайный умысел, — однако вскоре Анджум уже не отводила глаза, Кришану казалось, специально, точно она подзадоривала его обнаружить и собственные намерения. Кришан изнывал под взглядом ее темно-карих глаз, лицо Анджум оставалось непроницаемым, и оттого выдержать ее взгляд было труднее вдвойне, пусть он и задерживался на Кришане от силы на миг-другой; Кришан отворачивался, упрекая себя за трусость, и в то же время надеялся, что этот зрительный контакт не случайность, что между ним и Анджум завязалась безмолвная беседа,

что они снова и снова встречаются глазами не потому лишь, что так угодно ему, но угодно и ей.

Через пару часов два парня, с кем Анджум была лучше всего знакома, ушли, а вскоре засобирался и Раджив, так что остались Кришан, Анджум и две девушки, обитавшие в этой квартире, одна из девушек принялась сворачивать очередной косяк. Анджум, кажется, толком не знала ни одну ни другую, и это внушило Кришану надежду, что она не уходит из-за него; наконец косяк был готов, но Анджум дала понять, что ей пора, уже поздно, и Кришан, пользуясь случаем, уточнил, не к метро ли ей. Оказалось, им в одну сторону, оба жили на севере города и решили поехать вместе. Распрощавшись с хозяйками, они спустились по лестнице, Анджум первая, Кришан следом, вышли за ворота и направились к шоссе. Неделю назад праздновали Дивали, как зовут его на севере Индии, в воздухе до сих пор висел густой дым и запах петард и фейерверков. На улице было темно, не считая тусклого света встречавшихся то и дело натриевых фонарей, — он скорее подчеркивал мрак, чем улучшал видимость, придавая постапокалиптический вид и безжизненным улицам, по которым они проходили, и закрытым магазинам, и неосвещенным зданиям, вдобавок

все вокруг покрывала пыль, даже листья растений и деревьев, будто город давно заброшен. Шагая к метро сквозь царящее вокруг запустение, Кришан и Анджум обсуждали, чем север Индии отличается от юга: Кришан в тот вечер узнал, что Анджум из Бангалора, и ему не терпелось об этом поговорить, он чувствовал, что эта тема сблизит их, причислит их к одной и той же мифологии или расе, сплотит против окружающего их города. Анджум, по ее словам, в девятнадцать лет уехала в Дели учиться в университете и с тех пор не жила в Бангалоре и вообще на юге. Несколько лет она там не бывала, хотя в позапрошлом году съездила дважды; позже Кришан узнал, что это связано с тем, что Анджум рассталась с девушкой, с которой встречалась три года[16]: она рассказала родителям об этом романе и после этого вынуждена была на время прервать с ними всякую связь. Чем дольше Кришан и Анджум пробирались по неосвещенным неровным улицам и тротуарам, тем больше сокращалась дистанция между ними, руки их то и дело соприкасались, и эти прикосновения, как ни старался Кришан сохранять ясную голову, вызывали в нем бурю чувств. Добравшись

[16] Примечания: 16

Международное общественное движение «ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в России.

до метро, они спустились по длинной крутой лестнице в сверкающий вестибюль, на миг растерявшись, замедлили шаг, после долгого пути в темноте ослепленные флуоресцентным светом, и по длинному переходу вышли на станцию; двигались они отчего-то скованно, угловато, на почтительном отдалении друг от друга, и стук их шагов гулко звучал в тишине. Взгляды их были устремлены вперед или на пол, точно смотреть друг на друга им было невыносимо, точно яркий свет станции обнажил уязвимость, которую они до сих пор ухитрялись скрывать от себя самих, ведь на того, кого хочешь, можно смотреть открыто, не опасаясь выдать себя, лишь в темноте, потому-то все вечеринки, любовные связи, сексуальные отношения чаще откладывают на вечер, свет приглушают до минимума или выключают вовсе, так, чтобы встречаться глазами, не обнаруживая своей нужды. Лишь в темноте можно приблизиться к человеку и показать свою страсть, утаив унижение или боязнь несоответствия, столь часто примешивающиеся к желанию, чтобы тебя заметили, эти отчаянные, ранимые грани личности, которые во время ухаживаний мы неизменно вынуждены обходить или замалчивать и которые, если уха-

живания не задались, если маска хладнокровия или невозмутимости неожиданно спала, вдруг мучительно проступают на лице. Кришан подбирал слова, чтобы отогнать такую возможность, сделал глупое замечание о том, что все станции метро в Дели чистые и очень светлые; к радости Кришана, Анджум почти сразу ответила на его замечание — мол, в чем-то метро и город даже похожи, особенно ночью, когда станции пустуют, просторные гулкие залы и длинные подземные переходы метро, точно диковинное фантастическое зеркало, отражают наземный город.

В вестибюле Кришан и Анджум прошли досмотр, он встал в мужскую очередь, она в женскую, они положили сумки на ленту интроскопа, прошли через абсолютно декоративные рамки детектора, после чего дали себя обыскать — впрочем, небрежно — равнодушным охранникам. Спустились по лестнице на безлюдную платформу, беседа их текла плавно, как прежде, опасной минуты удалось избежать, и не успели они остановиться посередине платформы, как слева в туннеле показались огни поезда, их двойные круги становились все больше и четче, наконец поезд почти бесшумно прибыл на станцию, беззвучно и плавно затормозил и остановился

вровень с разметкою на платформе. Они вошли в вагон, как ни странно, набитый битком, хотя на станции ни души, выкроили себе местечко и молча встали у самых дверей. Поезд тронулся, Кришан почувствовал, что мужчины в вагоне глазеют на них, некоторые рассматривают его из сопутствующего любопытства, но большинство глядит на Анджум: Кришан с беспокойством отметил, что она единственная женщина в вагоне. Мужчины смотрели на нее не так, как мужчины в Дели обычно смотрят на женщин — взгляды их, точно вытянутые руки, готовые схватить неподвижный бытовой предмет, стакан воды или пульт от телевизора, — а чуть более сдержанно, чуть более уважительно, но выказывали это уважение нехотя, понял Кришан, лишь потому, что он рядом. Гораздо позже Анджум рассказала ему, как чувствуют себя женщины в общественных местах Дели, рассказала о том, что мужчины в Дели не знают стыда: чем еще объяснить, гадала Анджум, ту настырность, с которой мужчины из любых слоев общества взглядом словно вынимают душу из заинтересовавшей их женщины. В таких городах, как Ченнаи, Тривандрум и Бангалор, мужчины тоже глядят на женщин, добавила Анджум, но в прочих частях страны,

на том же юге, почти везде мужчины пялятся не так упорно, жадно и откровенно, и если на них посмотреть или сделать им замечание, скорее всего, отвернутся, словно тот, кто смотрел и на кого посмотрели в ответ, понимает, что поступает нехорошо, и тушуется. В Дели и многих штатах, где говорят на хинди, мужчины обычно смотрят иначе, в высшей степени откровенно и в высшей степени неотвязно, и даже если не донимают тебя прикосновениями или разговорами, все равно эти взгляды изо дня в день отнимают душевные силы, потому что мужчины через твои глаза словно пытаются проникнуть в твою душу — так незваные гости проникают в твой дом, не позаботившись даже разуться. В течение дня приходится постоянно напрягать все душевные силы, даже подумать спокойно некогда, и домой возвращаешься совершенно измученной. Вынужденные годами терпеть развязные взгляды, столичные женщины привыкают ни на кого не глядеть, на людях смотреть туда, где твой взгляд никто не поймает, то есть себе под ноги, на колени или в экран телефона, хотя лично я, добавила Анджум, специально не отвожу глаза и смотрю куда пожелаю, и принципиально никогда не езжу в женских вагонах в голове поезда, даже

если другие вагоны набиты битком.

После того разговора Кришан часто думал о том, что сказала Анджум, о словах и образах, которые она использовала, и не только потому, что это был один из первых примеров ее поразительного красноречия, проницательности и остроты ума, какой он не встречал в университете, хоть и учился уже в аспирантуре. Сказанное ею помогло ему осознать не только тот факт, что мужчины в Дели считают себя вправе глазеть на женщин, но и смутное напряжение, ощущавшееся между самими мужчинами в Дели, неявную, но неизбывную угрозу, порой повисающую над городом, подобно электрическому заряду, который способен в любое время и в любом месте, накопившись, превратиться внезапно во вспышку физического насилия. Он вспомнил, как однажды вечером напротив него в метро сидел парень, довольно-таки светлокожий, с волевым подбородком, шрамик над правым глазом подчеркивал жесткость черт. Парню было лет двадцать пять, может, тридцать, одет он был, как едва ли не все мужчины в Дели: блеклая рубаха, вязаный жилет, брюки, сандалии; рядом с ним сидели два друга, судя по виду, чуть более обеспеченные, один из них обнимал парня за плечи, а тот, казалось, не обращал внимания

ни на первого, ни на второго, лишь таращился на пол перед собою и слушал в наушниках музыку. Парень, должно быть, почувствовал, что на него смотрят, поднял глаза, равнодушно взглянул на Кришана, а тот отвернулся смущенно, точно его застали за неблаговидным занятием. Чуть погодя, уверившись, что парень и думать о нем забыл, Кришан вновь посмотрел на него (почему — сам не знал): была в нем какая-то тайна, в грубой его красоте, в том, как он сидел, погрузившись в задумчивость. Парень опять поднял глаза и на этот раз не отвел взгляд, вынудив Кришана — через мгновение-другое, в продолжение которых ни один из них ничем не выдал, что у него на уме, — отвернуться. Кришан уставился в пол, ощущая, что парень по-прежнему на него смотрит, его взгляд тяготил, мешая поднять глаза, и Кришаном вдруг овладело не любопытство и не смущение, а страх, смешанный со стыдом, страх того, что этот парень способен с ним сделать, стыд за то, что отвернулся и теперь не решается взглянуть на незнакомца, а тот — Кришан это чувствовал — специально сверлит его взглядом. В том, что два незнакомца без очевидной причины и цели глядят друг на друга сколько-нибудь продолжительное время, всегда таится нечто невыносимое;

из-за того, что каждому чудится, будто другой заглядывает к нему в душу, видит все, что тот скрывает, не показывает никому, рождается напряжение, и вскоре напряжение это становится настолько неловким, что так и тянет улыбнуться, нахмуриться, заговорить, сделать хоть что-то, все что угодно, лишь бы отвлечь другого от того, что он увидел в твоих глазах. Подобный пристальный взгляд — дело очень интимное, а потому он легко вызывает агрессию у мужчин, незнакомых друг с другом: каждому из них мерещится, будто другой пытается проникнуть в него, сделать его уязвимым и воспользоваться этой уязвимостью. Потому-то перед внезапной вспышкой агрессии мужчины словно соревнуются, кто кого пересмотрит, каждый будто бы подзадоривает другого проникнуть в него взглядом и сам пытается проделать то же; такие гляделки — обычное дело перед боксерскими поединками по телевизору, боксеры таращатся друг на друга во время взвешивания и непосредственно перед боем, эти гляделки начинаются как шутка, но очень скоро становятся серьезными, и главное в них не столько пересмотреть другого, сколько показать, что сам не спасуешь перед чужим взглядом, что бояться или стыдиться тебе нечего, и нет ничего

такого, чем ты не готов рискнуть.

Кришан упрекал себя за то, что отвернулся, это вдруг показалось ему непростительной трусостью, поскольку, потупясь, он чувствовал, что парень по-прежнему смотрит на него, можно сказать — пожирает его глазами. Кришан проехал пару остановок, все так же уставившись в пол и стараясь набраться храбрости и поднять взгляд на парня, уже не столько ради любопытства, сколько ради самоуважения, страху назло, словно чтобы доказать себе, что ему нечего стыдиться, что ему тоже хватит самообладания выдержать взгляд незнакомца. Наконец Кришан поднял глаза, и парень, до той минуты смотревший в пол, тут же уставился на него тем же бесстрастным взглядом, что и прежде; правда, теперь в нем читалась злость и даже угроза. Кришан запретил себе отворачиваться, но чем дольше они таращились друг на друга, тем сильнее он тревожился, ведь парень, судя по виду, крепкий, еще и с друзьями, им ничего не стоит избить Кришана, да и в споре он вряд ли сумеет себя защитить, его негодящий хинди в такой ситуации не подмога, сразу же выдаст в нем чужака, а это их, несомненно, еще более распалит. Не в силах выдержать тяжелый взгляд парня, но не

желая уступить и отвернуться, Кришан наконец выдавил улыбку, чтобы в последний момент дать их гляделкам безобидное объяснение или цель, а парень в ответ подался вперед, все так же не сводя глаз с Кришана, но чуть погодя, к его удивлению, неожиданно улыбнулся, расплылся в дружелюбной улыбке, лишенной всякой агрессии, окликнул друзей, встал, протолкался к дверям — поезд как раз прибыл на станцию — и вышел из вагона. Такая реакция немало озадачила Кришана, но и вызвала у него огромное облегчение; с тяжелым вздохом откинувшись на спинку сиденья, он подумал о том, какой силой обладают глаза человека, о том, что они способны не только безмолвно привлечь внимание, но и вопросить, заявить о своем присутствии, пригрозить, проникнуть в чужую душу с разрешения или против воли, — о том, что многие мужчины пользуются ими почти как половым органом, посредством которого проникают в других и пускают их в себя. Порой под чужим взглядом чувствуешь себя особенно беззащитным, ибо глаза, как принято говорить, окна души; правда, смысл взгляда — Кришан это понял в тот день — и что́ именно в нем читается, доверие или агрессия, зависит также от черт лица, от значе-

ния, которое придают взгляду губы, брови, щеки, так что когда двое смотрят друг на друга, все это понятно и вместе с тем неопределенно — способ узнать человека, допускающий самые дерзкие истолкования, — и поэтому когда встрече взглядов сопутствует определенное выражение лица, определенный контекст или цель, в такие редкие моменты обыденной жизни законы, управляющие общением, перестают действовать, как будто на тонкой линии между взглядами незнакомцев вдруг становится возможным все что угодно, пусть и лишь на мгновение

Кришан притворялся, будто смотрит на электронное табло над дверьми, на котором отображаются остановки, но, заметив, что Анджум глядит на него, опустил голову и посмотрел ей в глаза. Она стояла спиной к двери, одной рукой держалась за ручку, свисавшую с потолка, другую убрала за спину, расслабленно и свободно покачиваясь в ритме поезда. Лицо ее было непроницаемо, зрачки расширились, темно-карие радужки превратились в тонюсенькую каемку, она смотрела на него так, будто понятия не имела, что на них двоих, особенно на нее, таращится весь вагон. Кришан ждал, пока Анджум заговорит с ним, но она молчала — любое слово,

даже сказанное вполголоса, стоящие рядом тут же услышат, — и он осознал: Анджум смотрит на него уже давно и, более того, намеренно; ему вдруг стало неловко в этом битком набитом людьми, залитом ярким светом вагоне, и не только потому, что он снова почувствовал себя беззащитным, но и потому что Анджум специально буравила его взглядом, он это чувствовал, точно бросала вызов мужчинам, пялившимся на нее, точно показывала, что не намерена прятать глаза и скрывать желания, и показывала это не столько мужчинам, которые на нее глазели, сколько Кришану, будто сознавала, как он опасается их взглядов, и давала ему понять — она не боится, в отличие от него. Не желая обнаруживать, что ему неуютно, он заставил себя посмотреть на Анджум, но старался глядеть не в глаза, а на лицо, на темный выпуклый лоб — короткая стрижка его не скрывала, — на тонкие морщинки между бровями, придававшие строгость взгляду, на сережку-гвоздик в левой ноздре, на губы, однако каждая из этих черт словно вынуждала его вновь посмотреть ей в глаза, большие, темные, а может, и сами ее глаза, так серьезно и пристально глядевшие на него, постоянно притягивали его взгляд. Они были почти одного роста, он выше лишь на

дюйм-другой, и, стоя напротив Анджум, Кришан отметил, что их тела идеально совпадают и если он придвинется к ней, его грудь прижмется к ее груди, его живот — к ее животу, его лобок — к ее лобку. Кришан с самого начала остро ощущал физическое присутствие Анджум, ее позу, то, как она двигалась, но стоя сейчас рядом с нею — он старался смотреть ей в лицо, не опуская взгляда, — он будто вновь осознал близость ее тела, словно впервые понял, что оно существует в том же времени и пространстве, что и его тело, что ее тело может соприкоснуться с его телом, что оно может покачиваться, двигаться, прижиматься к его телу, отталкиваться от него. Он пока что не знал, нравятся ли ей мужчины, ведь то, что он принимал за возможный интерес, могло оказаться приветливым равнодушием, и даже если мужчины ей нравятся, это еще не значит, что ей нравится он. Правда, взгляд ее постепенно смягчался, становился более открытым, призывным, она уже не допрашивала его, не бросала вызов, а словно бы приглашала, и чем дольше он смотрел на нее, тем больше все окружавшее их исчезало, красноречивые взгляды мужчин теряли силу, немели, звуки тоже стихали, — и механический голос, объявляющий станции, и

шелест разъезжающихся дверей, и шарканье ног входящих и выходящих пассажиров, — словно в целом поезде, пробиравшемся по подземному городу, не было никого, кроме Анджум и Кришана: все превратилось в слабый отзвук далекого мира. Кришан почувствовал, что их тела сблизились, лбы почти соприкасаются — почти, но не совсем, — точно они собрались секретничать, но оба молчали, хотя уже и не из опасения, как бы окружающие не услышали, тех больше не существовало, а потому что в словах внезапно отпала необходимость, потому что им больше не нужно было прятать чувства за словами, пытаясь отвлечься, потому что сейчас, когда они стояли друг напротив друга в тяжелой и мерной ясности, какая бывает под кайфом, вдруг стало понятно, что их интересует одно и то же.

Кришан не знал, долго ли они простояли, глядя друг на друга, укуренные, но в ясном сознании, тела их покачивались в такт движению поезда, но не соприкасались, а потом вдруг Анджум приблизила губы к его уху и спросила, может ли он сегодня лечь спать попозже и не хочет ли он еще покурить, а уж потом ехать домой; Кришан не то чтобы ожидал такого вопроса, но и не то чтобы удивился, и молча кивнул в ответ. Они вышли

на ее станции — всего через две остановки после его — и на рикше поехали к ней; в продолжение десятиминутной поездки их колени то и дело соприкасались, поскольку рикшу трясло, Анджум со своего боку повозки смотрела на асфальт, бугрящийся под колесами, Кришан со своего боку глазел на мелькавшие улицы, пустынные, словно лунный пейзаж; их пальцы незаметно нашли друг друга и переплелись, хотя оба продолжали глядеть каждый в свою сторону. Когда они наконец приехали, Анджум шепнула ему: «Только тихо», — направилась вверх по лестнице, преодолела несколько маршей, отперла дверь, взяла Кришана за руку и провела по темной квартире. Он ждал у двери ее комнаты, Анджум вошла и включила на полу ночник, заливший комнату мягким желтым светом. Комната была маленькая, пустая, из мебели лишь деревянный письменный стол в углу да тонкий матрас на полу возле стены. Вдоль стен на старых газетах высились стопки одежды и книг на английском и каннада[17], те, что на английском, по истории и политике, как выяснилось впоследствии, а на каннаде в основном сборники стихов. Анджум

[17] Примечания: 17

Дравидийский язык, распространенный на юго-западе Индии, главным образом в штате Карнатака.

сложила вещи в угол, опустилась на матрас, скрестив ноги и прислонившись спиною к стене. Кришан уселся рядом с нею, но не спиною к стене, а чуть боком к Анджум, так чтобы видеть ее лицо, и смотрел, как она взяла стоящую рядом с матрасом гравированную металлическую шкатулочку, небольшую глиняную лампу со старыми окурками и тоненький сборник стихов на каннаде. Из шкатулочки Анджум достала шарик гашиша размером не более стеклянного шарика, подарок друга, пояснила она, сама бы она не купила, гашиш стоит чересчур дорого, разогрела шарик в пламени зажигалки и раскрошила его ногтями на сборник стихов. Кришану никак не верилось, что он наедине с той, о ком непрестанно грезил два месяца; он смотрел, как Анджум мешает гашиш с табаком из сигареты и изящными опытными пальцами сворачивает косяк. Анджум отложила книгу, отряхнула матрас, зажгла косяк, затянулась, Кришан спросил, много ли она читает книг на каннаде, Анджум на это ответила, что в основном стихи поэтесс старшего поколения из Карнатаки. Ей не очень-то нравится поэзия на английском и хинди, двух других ее языках, эмоциональная валентность слов и образов не вызывает у нее того отклика, что стихи на род-

ном языке. Она тоже пишет на каннаде, в своем блокноте или записной книжке — ей не нравится слово «дневник», — но начала не так давно, года два или три назад. В Бангалоре она предпочитала писать по-английски, наверное, потому что в Бангалоре говорила преимущественно на каннаде, а английский ей помогал отстраниться от мира и наедине с собой ощутить, как она далека от всего, что ее окружает. Вероятно, по той же причине в Дели она стала писать на каннаде, потому что общалась со всеми, конечно, в основном на английском и хинди, а писала на каннаде, чтобы мысленно оказаться в другом месте, не обязательно в Бангалоре и вообще в Карнатаке — и город, и штат вызывали у нее двойственные чувства, — а просто хотя бы не в Дели.

Они протягивали друг другу косяк, тихонько касаясь пальцами друг друга, каждый затягивался несколько раз, глубоко и с удовольствием, и отдавал косяк обратно. Тот тлел быстрее, чем хотелось Кришану; Анджум затянулась напоследок, затушила косяк о глиняную лампу, улыбнулась осторожно, но все же уверенно. Теперь им не на что было отвлечься, нечем занять руки, притворяясь, будто они и не замечают, что сидят рядом, наедине, и ничто не мешает им делать,

что хочется. Оба чуть подвинулись, Анджум коснулась его колена, провела рукой по исподу бедра. Кришан потянулся к ней, чтобы поцеловать, но Анджум уклонилась, увернулась от его губ и поцеловала его, но не в губы, а в щеку, едва ли не в ухо, потом в шею и уж потом в губы. В последовательности мягких, непринужденных, почти инстинктивных движений — так, словно земля уплывает и они, вцепившись друг в друга, падают сквозь пространство — они разделись, она оседлала Кришана, задвигалась сперва медленно, потом быстро и жадно. Он лежал под Анджум, участвуя в этом движении, поддерживая его бедрами, гладил ноги, талию, грудь Анджум, ее ладони скользили по его груди, плечам, шее, время от времени, словно очнувшись от забытья, Кришан с изумлением всматривался в сидящую на нем женщину и вновь погружался в совместное их движение, крепче обнял ее тело в нарастающей общей скорости, будто желал доказать самому себе, что она существует, что образ в его душе — больше, чем просто образ, нечто не мимолетное, а осязаемое, из плоти и кожи, такое, что можно касаться, сжимать в руках, вдыхать запах, чувствовать ладонью пот. Дыханье Анджум учащалось, лоно ее теснее

прижималось к его межножью, и, сообразив, что происходит, Кришан постарался обуздать себя, сосредоточенно приспосабливаясь к ее учащенной настойчивости, но вскоре почувствовал, что долее сдерживаться не в силах и вместе с ней неожиданно достиг пика, задыхающегося, на мгновение совпавшего у обоих. Когда все закончилось, Анджум уткнулась лицом в его шею и, тяжело дыша, прижалась грудью к его груди. Растянулась на нем, выпрямила ноги, и они лежали молча, вслушиваясь в биение своих сердец, становившееся медленнее, ровнее. Погрузившись в тихую истому, каждый из них наблюдал, как сквозь остатки страстного нетерпения не спеша проступает дурман; разговаривать ни ему, ни ей не хотелось: будто, окутанные теплым послесвечением удовольствия и телесного напряжения, они отдались настоящему, не думая ни о будущем, ни о прошлом, и настоящее, подобно утробе, казалось, способно вместить в себя все, что им необходимо, пока их тела сливаются воедино.

Так они пролежали минут пятнадцать или полчаса — может, даже и час, трудно сказать, время словно застыло или целиком сосредоточилось в настоящем, хотя в какой-то момент Анджум соскользнула набок, коснулась бедра Кришана

и вопросительно погладила его межножье. Рука ее оставалась там, пока не почуяла отклик, перешедший в новую череду движений, приведших к медленному, но энергичному погружению друг в друга, на этот раз дольше и откровеннее, оба смелее набрасывались друг на друга, черпая столько же удовольствия в том, чтобы брать, сколько и в том, чтобы отдаваться. Они меняли позы, по очереди поглощали друг друга глазами и руками, разрываясь между потребностью присвоить тело другого и желанием любоваться им чуть издали, не зная, что выбрать — то ли близость, то ли дистанцию, ведь для страсти нужно и одно, и другое. Снова замедлившись, они в изнеможении улеглись бок о бок — его правая нога на ее левой ноге, ее левая рука на его животе — и уставились в потолок в теплом сиянии ночника. Помолчав немного, они разговорились, Кришан уже не помнил о чем, разговорились с неожиданной исповедальностью, которая так часто возникает между новоиспеченными любовниками; порой она кажется деланой и наигранной, однако же, когда двое так сильно хотели друг друга, что даже соитие не утолило это желание, подобной исповедальности свойственна странная глубина, доверительность, в которой каждый делится тем,

что всю жизнь хранил в душе и только сейчас, в минуту безопасной искренности, сумел наконец изречь. Прежде Кришану случалось чувствовать такую близость с другими, один или два раза, но сейчас она усилилась так, как ему и не снилось, будто слова, которые он тогда говорил Анджум и которые она говорила ему, не растают, подобно большинству слов, в бесконечном потоке молчаний и звуков, будто их слова действительно услышат, действительно примут на веру, объективно оценят за пределами их личностей, будто, разговаривая тогда в теплом коконе тел, они писали душой на небе или на земле и через слова обретали постоянство, а то и вечность.

Той ночью они не сомкнули глаз, снова и снова переходя от энергичных усилий к мирной истоме и тихой исповедальности, словно три эти состояния ничем не отличаются друг от друга, словно у них нет ни начала, ни конца и они, эти состояния, лишь грани одного и того же всеобъемлющего целого. В шесть или половину седьмого утра, понимая, что перед университетом надо заехать домой, Кришан встал и отыскал свои вещи среди разбросанных на полу. Неуклюже оделся, чувствуя на себе взгляд Анджум (она лежала голая под простыней), опустился на колени возле мат-

раса, чмокнул ее в щеку так целомудренно, что Анджум удивилась, и ушел. Он не ожидал, что на улице так прохладно, — может быть, потому, что в такую рань давно никуда не ходил. Густую пелену смога и пыли пронизывал приятный, хоть и тусклый утренний свет, Кришан шагал, чуть взвинченный оттого, что всю ночь не спал и еще не позавтракал. Несмотря на плохую видимость, происходящее вокруг представлялось ему необычайно ясным, контуры предметов проступали отчетливо, поверхности обретали яркий цвет, уже были открыты чайные, торговцы овощами и фруктами уже толкали свои тележки, там и сям сновали рабочие, дороги были запружены легковушками, автобусами и фургонами, моторикши обильно извергали шум и дым. Кришан смотрел на окружавших его людей, уже начавших свой день, уже погруженных в дела, в обыденные заботы, и ему вдруг показалось, будто он перенесся из одного мира в другой, причем каждый из этих миров отрицает реальность другого. Словно обычная жизнь, несколько часов назад представлявшаяся столь далекой, поставила под вопрос существование того мира, который он только что покинул, мира столь отличного по своей сути, что Кришан и сам усомнился бы в

его существовании, если бы его тело не несло на себе запахи той реальности, запахи пота, биологических жидкостей, слабый, но едкий душок презервативов: на утреннем холоде все это окутывало его теплой невидимой пеленой, неизменным доказательством и напоминанием о минувшей ночи. Запах сопровождал его по дороге домой и даже когда Кришан принял душ, переоделся и уехал в университет, а исчез только после того, как он провел ночь в своей кровати и на следующее утро снова помылся; быть может, из-за того, что запах исчез, в следующие дни Кришаном владело тихое беспокойство, будто бы, вновь погрузившись в обычную жизнь, без материальных примет мира, который он делил с Анджум — с каждым днем этот мир отдалялся все больше, — Кришан засомневался, была ли мощь пережитого настоящей или воображаемой, чувствовала ли Анджум то же, что и Кришан, или же он, ослепленный тяжелым мороком, все неверно истолковал, а это значит, что она, быть может, не захочет впредь его видеть. Однако через несколько дней они встретились снова, на этот раз у него, и вторая их ночь прошла так же, как первая, оба почти не спали, снова перемещаясь между теми тремя состояниями блаженства, и снова чуть

погодя Кришаном овладела тревога, на этот раз не о том, действительно ли он чувствовал то, что чувствовал, и не о том, чувствовала ли то же самое Анджум, а о том, получит ли продолжение это совместно пережитое, не растает ли без следа. И даже если эти две встречи стали для нее таким же откровением, как для него, можно ли быть уверенным, что их свидания и дальше будут манить Анджум тем же качеством и высотой, можно ли быть уверенным, что они и далее будут таковы, и не только для него, но и для нее, разве такое влечение, такая сильная страсть способны длиться долго, разве можно и дальше вести эту жизнь, противоречащую обыденной?

В три или четыре следующих месяца, запомнившихся Кришану как время, странно выпавшее из времени, он постоянно колебался между этими двумя состояниями, между бездумным, упоительным, словно бы нескончаемым настоящим, которое он переживал возле Анджум, и беспокойной, возбужденной неуверенностью, охватывавшей его, едва они расставались. Встречались они не чаще раза в неделю, а то и реже, в зависимости от расписания Анджум, поскольку почти все свободное время она посвящала политической деятельности, что-то организовывала,

ходила на протесты, устраивала семинары, ради которых по выходным уезжала из Дели. Когда они все же встречались, то проводили вместе все время, порой и оба выходных дня без перерыва не покидали пределов комнаты, курили сигареты и гашиш, занимались сексом, разговаривали, читали вслух, бессонную ночь сменяло утро и день, они то дремали, то совокуплялись. Даже если они куда-нибудь выбирались — поесть, глотнуть свежего воздуха, — все равно не могли разорвать кокон, сотканный в постели, и даже когда сидели в чайных, курили сигареты, бесцельно бродили по парку, стояли лицом к лицу в вагоне метро, они словно бы скрывались друг в друге, не в силах расстаться, словно в мире не было никого, кроме них двоих, словно мир за пределами их общего кокона куда менее реален, он лишь обман, иллюзия, и это чувство, без сомнения, было связано со странным свойством, которое обретало время, когда они были вместе, поскольку, хотя это время можно было объективно измерить, по завершении исчислить в часах и минутах, оно будто бы не подчинялось величинам обычного времени, точно его продолжительность полнее и шире, чем у времени, составлявшего прочие части их жизни, точно

вместе они существовали в едином бездонном мгновении, способном тянуться вечность, и пока они пребывали в нем, оно длилось и длилось, хотя потом, безусловно, кончалось. Чем больше времени они таким образом проводили вместе, почти без еды и сна, точно это совместное время-препровождение было чем-то вроде аскезы, тем опасней оно представлялось им, индивидуальности их размывались, собственное настроение улетучивалось, словно за время, проведенное вместе, они все дальше и дальше проталкивались в некую сферу существования или же бытия, связанную с так называемым реальным миром лишь тончайшими нитями, и чем глубже они проникали в эту иную сферу, тем больше росла вероятность, что эту нить перережут и они вдруг зависнут в каком-то другом месте, не в силах вернуться к привычным себе. Чем далее, тем острее каждому из них было необходимо хоть немного побыть одному, дабы удостовериться, что он по-прежнему существует как отдельная личность, попытаться сохранить хотя бы остатки индивидуальности — выйти за сигаретами и задержаться дольше необходимого, засесть в туалете, отвечая на сообщения, накопившиеся в телефоне. Уверившись в своей раздельности, они

снова терялись в мире, который создали вдвоем; их так неизбежно, неотменимо тянуло сгинуть, раствориться друг в друге — как ни старались они сохранить индивидуальность, — что они все больше времени проводили вместе, хотя в конце концов, разумеется, все равно приходилось расстаться, в конце концов их с такою силой тянуло вернуться во внешний мир, в свои отдельные жизни, что этого невозможно было не замечать, хоть они и пытались, откладывали, а то и отменяли дела и личные обязательства, отсрочивали, отодвигали миг расставания, пусть на чуть-чуть: напоследок выкурить сигарету, выпить чашку чая или еще раз порывисто и торопливо сорвать с себя одежду, так что пять минут превращались в полчаса, а полчаса — в три часа.

Всякий раз, как им удавалось расстаться, Кришан ощущал тихое облегчение, смешанное с печалью из-за необходимости наконец обратить внимание на тот факт, что его индивидуальность странным образом исчезла; в присутствии Анджум это исчезновение представлялось ему радостью и блаженством, но стоило Кришану остаться одному, и он с досадою сознавал, что теряет себя. От усталости не в состоянии ни думать, ни чувствовать, ни делать что-то полезное,

он шел домой и ложился вздремнуть; немного собравшись с силами, шел в туалет, в душ, чтобы, помывшись, хотя бы отчасти вернуть себя прежнего. После этого он занимался каким-нибудь спокойным делом, например подметал комнату, эти ритмичные повторявшиеся движения всегда его успокаивали, или читал (это помогало ему ощутить, что у него еще осталась собственная духовная жизнь) — иными словами, пытался, как мог, восполнить исчерпанные ресурсы, восстановить самость, независимость от Анджум. Но рано или поздно его охватывало желание пообщаться с Анджум, узнать, как у нее дела, получить нечто вроде внешнего подтверждения мыслей и чувств, не успевших покинуть его после их встречи, нечто вроде доказательства, что эти мысли и чувства оправданны, — получить утешение в одиночестве, снедавшем его, когда расставание их делалось ощутимее. Анджум, как правило, не торопилась откликнуться на сообщение, порой отвечала через несколько часов, а то и через день. Ответы ее бывали то милы, то сухи, но, как правило, коротки и никогда не перерастали в беседу, будто она нарочно держала дистанцию, раз уж они сейчас не в одном материальном пространстве. Кришан понимал, что такая дистанция

полезна и даже необходима, дабы восстановить силы, потребные, в свою очередь, для нескончаемого труда повседневной жизни и, самое главное, для того, чтобы они снова увиделись. Он, как умел, старался не показаться ни отчаявшимся, ни навязчивым, чтобы у Анджум не создалось впечатление, будто он нуждается в ней куда больше, чем она в нем; Кришан никогда не отправлял за раз больше одного сообщения и никогда не посылал второе, не получив ответа на первое, а прежде чем ответить, обязательно выжидал час, как бы ему ни хотелось сразу же написать ей. Он изо всех сил притворялся, будто молчанье Анджум ничуть его не волнует, но, получив от нее заверение, что и она думает о нем так же часто, как он о ней, что и ей не терпится с ним увидеться, перед свиданием он начинал тревожиться, гадать, не сказал ли он или не сделал что-то не то, не надоел ли он ей, не затмили ли повторение и обыденность значимость времени, которое они проводили вместе. Конечно, такая тревога в той или иной мере знакома каждому новоиспеченному влюбленному, каждому, кто находит в другом упоение или восторг, о которых прежде и не подозревал и которые, обретя, страшится утратить. Обычно со временем эта

тревога стихает — по мере того как отношения входят в привычку и каждый принимает как должное продолжительное присутствие другого; тревога Кришана со временем тоже ослабла, едва он уверился, что трансцендентность их встреч не исчезнет из-за того, что они обвыклись друг с другом. Он не сомневался, что нравится Анджум, что ей нравится не только его тело, но и душа, и то, что он говорит; не сомневался, что он интересен ей, ведь она так подробно расспрашивала его о детстве и юности на Шри-Ланке, представлявшейся ей страной далекой и сказочной. Порой она так обнимала его во сне, что он безошибочно чувствовал, насколько она откровенна с ним, насколько к нему прикипела, но хотя Анджум открывалась ему все больше, хотя даже по ее взглядам и прикосновениям он порой понимал, что и в ней, быть может, развивается нежность, отмечающая переход от влюбленности к любви, Кришан не мог избавиться от ощущения, что в глубине души Анджум не желает излишне сближаться с ним, и, несмотря на то, что, когда они вместе, она готова начисто позабыть о себе, она все же боится проводить с ним чересчур много времени, не пускает его в прочую свою жизнь, словно чувствует, что то, что они переживают

вместе, не будет длиться вечно, а если и будет, то неминуемо перестанет приносить радость и удовольствие, словно потребность в иных мирах, которую он так живо ощущал в ней, способно насытить лишь что-то другое.

Поначалу он полагал, что это сопротивление отчасти обусловлено желанием общаться с другими людьми: Анджум не раз признавалась, что ее привлекают те, с кем они с Кришаном знакомы или кого видели мельком, и парни, и девушки, она говорила об этом довольно непринужденно, так, будто ей и в голову не приходило, что ее слова могут задеть его за живое. Порой она упоминала бывших любовников, в том числе и в прошлых отношениях, которые два года считались открытыми; наверное, она хочет спать с другими, думал Кришан, а именно — с женщинами, ведь они способны дать ей то, чего он не способен; а может, у нее уже есть любовники, может, потому-то Кришан с Анджум и видятся не чаще раза в неделю. Или же она просто его стесняется, не хочет, чтобы люди узнали, что у нее традиционные отношения с мужчиной; может, поэтому она и не любит ходить с ним на мероприятия и на встречи с друзьями. Прямо он у нее об этом не спрашивал — отчасти из робо-

сти, отчасти из страха услышать ответ, и лишь месяца через два или три с начала их встреч стал догадываться: отстраненность Анджум вызвана не столько тем, что она хочет общаться с другими или стесняется связи с Кришаном, сколько тем, что ни в сексуальных, ни в романтических отношениях трансцендентность ей просто-напросто не нужна. Конечно, ей нравилась близость, сильно, порой нестерпимо хотелось секса, она явно была способна затеряться в упоительном мире, в котором они пребывали наедине, но по какой-то причине она словно не до конца доверяла этому миру, словно подозревала, что он не способен дать ей то, чего она в конечном счете желает. И удовлетворить это желание — Кришан понял это, лишь когда они дольше пробыли вместе, лишь когда он узнал о том, чем живет Анджум помимо их свиданий, — способна была исключительно политическая деятельность, не утопические взгляды, ее вдохновлявшие (Анджум была слишком цинична, чтобы верить, будто можно построить идеальный мир), а та жизнь, которую Анджум надеялась создать вместе с теми, с кем работала, со своими товарищами, как она предпочитала их называть. Кришан слушал, как она рассказывает о различных случаях кастового и

гендерного насилия, с которыми ей доводилось сталкиваться по работе, о протестах, которые посещала, о произволе полиции, которому была свидетельницей, о рабочих планах и целях (об этом Анджум говорила с особенным пылом) — все они были общие, все связаны с товарищами, — и понимал, что Анджум хочет посвятить всю себя этим планам и целям, что в подходящих обстоятельствах она бросит все ради них и исчезнет; порой он надеялся — в те минуты, когда чувствовал особую близость с Анджум, — что и ему удастся разделить с ней ту жизнь, о которой она мечтает, что, быть может, однажды она и сама ему это предложит, а порою, в минуты слабости, не мог избавиться от подозрения, что время, проведенное с ним, для Анджум не более чем развлечение, и как бы она ни ценила его (может, даже любила), но для нее их встречи не более чем возможность сделать паузу в действительно важных занятиях, что для нее, как для женщин на службе у «Тигров» — он читал о них массу статьей и слушал множество интервью, — любовь, пусть даже и не от мира сего, всегда связана с так называемым реальным миром, тем миром, чье основополагающее устройство ей никогда не принять, что она, иными словами, из тех людей,

чья жизнь настолько подчинена мечте о лучшем мире, что пустоту в ее душе не заполнить ничем и никем — ни любовью, ни романтической связью, ни другим человеком.

6

К этой-то мысли возвращался Кришан, сидя напротив Анджум в тот вечер в поезде до Бомбея; притворившись, будто читает, он украдкой поглядывал на нее в надежде, что она тоже поднимет глаза от книги и подаст ему знак, или протянет руку, чтобы коснуться его, или хотя бы посмотрит на него. Обычно в присутствии Анджум ему удавалось унять волнение подобного рода, Кришан не хотел, чтобы оно портило их совместное времяпрепровождение, но они не виделись три недели, даже толком не разговаривали по телефону, и теперь он, хоть Анджум и была рядом, тревожился — а прикоснуться к ней (это всегда его успокаивало) не мог, — что, наверное, за время в Джаркханде ее отношение к нему изменилось и она уже не стремится к близости с ним, как бывало ранее (он всегда это чувствовал при встречах), словно дистанция, которую Анджум так старательно поддерживала, когда они бывали в разлуке, ныне вылилась в нечто более суровое. В вагоне разносили ужин, проводники юрко сновали от полки к полке с подносами, помеченными «вегетарианские блю-

да» и «невегетарианские блюда»; почуяв суету, Анджум наконец захлопнула книгу и подняла глаза. Как тебе роман, спросила она Кришана, он опустил взгляд на страницу — его книга была открыта — и ответил: сойдет, что-то я начитался, больше уже не хочу. Я тоже никак не могу сосредоточиться, сказала ему Анджум, и слишком расстроена, чтобы читать. Он посмотрел на нее испытующе, удивленный таким признанием, и Анджум, помявшись, добавила: я поссорилась с матерью и, как ни стараюсь, не могу об этом забыть. Кришан ждал продолжения, но Анджум колебалась, рассказывать ли дальше, и лишь после того, как он уточнил: что случилось, из-за чего вы поссорились, — Анджум со вздохом объяснила. Все началось с того, что три недели назад мать по телефону упрекнула ее в том, что Анджум уже давно не приезжала в Бангалор. В позапрошлом году Анджум приезжала два раза, в прошлом — ни одного, и мать донимала Анджум расспросами, когда та приедет. Я не виновата, отвечала Анджум, работы так много, что просто не вырваться, на что мать — а она с самого начала разговаривала раздраженно — заметила: видимо, дело в другом. Что ты имеешь в виду, спросила Анджум, в каком еще другом, и мать немедля

ответила: в твоей бывшей девице, наверное, ты снова сошлась с ней или тратишь жизнь на такие же инфантильные глупости. Анджум сперва онемела, она не ожидала подобного обвинения, а потом припомнила все, что мать прежде говорила о Дивье, и вдруг вспылила, накричала на мать и бросила трубку. С тех пор мать звонила два раза, якобы для того, чтобы наладить отношения, снова заходила речь о том же самом, уступить не пожелала ни одна, ни другая, и оба раза в самый разгар перебранки и взаимных упреков кто-то швырял трубку.

Кришан уже слышал о том, как Анджум рассорилась с родителями из-за Дивьи, но толком ничего не знал, Анджум не хотела об этом говорить, сколько бы ни расспрашивал ее Кришан всякий раз, когда разговор заходил об этом, и сейчас его обескуражило, как терпеливо она рассказывала ему о причине ссоры с матерью — причине, которая (Анджум это подчеркнула) ничем особо не примечательна и уж точно не удивительна. С Дивьей на тот момент они встречались почти два года, сообщила Анджум, несколько месяцев жили в одной квартире, Анджум верила, что у них все всерьез и надолго, потому и решила поставить в известность ро-

дителей. Она понимала, что они, скорее всего, встретят ее признание в штыки, особенно мать, но родители старались быть понимающими и снисходительными (насколько это вообще возможно для родителей), всегда поддерживали их с сестрой или как минимум выказывали участие к их желаниям. Анджум заключила, что рано или поздно они смирятся с этими отношениями, пусть даже нескоро, с большим трудом, пусть даже никогда и не захотят знакомиться с Дивьей, общаться с нею: впрочем, то и другое не особо заботило Анджум. Она предвидела, что мать придет в ярость, предвидела последующие долгие манипуляции (мать часто лила слезы в надежде внушить дочери чувство вины, утверждала, что отец Анджум разболелся из-за того, что она сообщила им). Анджум предвидела язвительные замечания, рассчитанные на то, чтобы ее пристыдить, предвидела ядовитые слова, которые западают в голову, да так, что не выкинешь, хотя произнесены и услышаны они были давно, но вот чего она не предвидела, к чему оказалась не готова, — что сказанное матерью так больно ее заденет. В детстве они с матерью были близки, почти неразлучны, но, когда у Анджум начался переходный возраст, в отношениях с матерью

возникли трудности, и, уехав в Дели учиться в университете, Анджум сознательно отдалилась от родителей. Мать время от времени по-прежнему позволяла себе уничижительные замечания о том, как Анджум выглядит, как одевается, ругала ее за то, что, наезжая домой, та отказывается видеться с родственниками, но к тому времени, когда Анджум окончила университет и вышла на работу, мать ослабила контроль — наверное, почуяла, что отныне у нее меньше власти над дочерью и та идет своею дорогой.

Анджум полагала, что, сообщив родителям о Дивье, сумеет спокойно и с достоинством выдержать материну реакцию, какою бы та ни была, и не уступит, если мать попробует разрушить ее отношения с девушкой, но правда в том, осознала Анджум, — хотя, если вдуматься, это и так было очевидно, — что матери даже многие годы спустя удалось уязвить ее, заставить усомниться не только в своих убеждениях, но и самоощущении. Анджум, сколько могла, терпела ее жестокие речи в надежде, что рано или поздно им настанет конец, но шли месяцы, ссоры не утихали, обиды усугублялись, и наконец, не в силах больше слышать материн голос так, чтобы сердце при этом не сжималось от гнева, Анджум вынуждена

была прервать общение с родителями. Они не разговаривали полтора года — уже и отношения с Дивьей несколько месяцев как закончились, но Анджум не сразу сообщила им о расставании, не хотела давать матери повод для злорадства. Узнав о произошедшем, мать старательно скрыла восторг, уговорила Анджум приехать домой на недельку, каждый день по нескольку раз готовила ей затейливые карри, всевозможные десерты — и ни разу ни словом не обмолвилась о романе дочери. Анджум понимала, что на самом деле ничего не изменилось, что мать и дальше будет делать вид, будто ее дочь гетеросексуальна, но тем не менее приняла все эти знаки примирения: после того как Анджум наладила отношения с родителями, у нее стало легче на душе и она решила не поминать старое. Со временем жизнь вошла в прежнюю колею, Анджум стала забывать о случившемся, оно казалось все более давним, все более неважным, тем более что с Дивьей они расстались не из-за родителей. И лишь сейчас Анджум осознала, что в душе ее все это время таилась обида, иначе с чего бы, стоило матери упомянуть о Дивье, Анджум разъярилась, причем так внезапно и сильно, что удивилась сама? В некотором смысле чутье не подвело мать: Ан-

джум так долго не приезжала домой, потому что в душе ее, как ни старалась она быть разумной, тлела злоба, долгое время Анджум подавляла в себе эту злобу, но когда мать спровоцировала ее по телефону, все-таки взорвалась.

Им принесли ужин, Анджум замолчала, они с Кришаном уселись на краешек полки, поставили подносы на колени, открыли пластмассовые контейнеры, чтобы взглянуть, что внутри: оказалось, лишь несколько небольших, чуть отсыревших лепешек-чапати и желтый рыбный карри. Наклонившись вперед, чтобы не пролить карри, они принялись за еду. Двое проводников в униформе принесли ужин в купе напротив и ушли. Кришан повернулся к Анджум и негромко спросил: а ты уверена, что порвала с Дивьей не под нажимом матери, что злишься на мать не за то, какую роль она сыграла в вашем разрыве? Анджум задумалась, посмотрела на Кришана, проглотила то, что жевала, и покачала головой. Нет, ответила Анджум. Если уж на то пошло, материно возмущение лишь подтолкнуло меня продолжать отношения с Дивьей, в противном случае мы расстались бы намного раньше. Я не допущу, чтобы мать или другой член семьи влиял на мой выбор, и если мне вдруг захочется

завести отношения с женщиной, я сделаю это не задумываясь. Анджум примолкла, улыбнулась Кришану и добавила, точно в шутку: я с тобой потому, что ты мне нравишься, а не потому что ты помогаешь мне удовлетворить подсознательную потребность угодить матери. Кришан слушал, как Анджум впервые открыто говорит о прошлом своем романе, как описывает Дивью — та оказалась собственницей — и проблемы, которые привели к разрыву. Голос ее потеплел, посерьезнел, точно рассказ о матери и Дивье помог Анджум снять камень с души; тревога, весь день снедавшая Кришана, улетучилась. Теперь он понял, почему Анджум в эти три недели отдалилась от него, почему сегодня была с ним так холодна, и по тому, как она рассказывала о Дивье, почувствовал, что отчасти Анджум хочет его успокоить, пояснить, что дичилась его не нарочно, что ему не о чем беспокоиться. Сейчас она целиком сосредоточилась на нем, смотрела ему в глаза, и Кришан невольно радовался, что она рассказывает ему все эти личные, заповедные подробности — она, так не любившая откровенничать о себе; казалось, Анджум, все время их знакомства носившая маску неуязвимости, наконец решила открыться ему. Кришан уверился,

что между ними все осталось по-старому, что за эти три недели они даже в каком-то смысле сблизились, и собственная тревога показалась ему глупой, детской, неуместной. Ему следовало догадаться, что дело в другом, ведь они же поехали вдвоем в Бомбей, они намерены провести вместе три недели в подобии семейной жизни, чего прежде не делали и чего Анджум нипочем бы не предложила, не будь ее чувства к Кришану хоть сколько-нибудь серьезны. Разумеется, она могла бы и сказать, что поссорилась с матерью, он бы тогда ее успокоил, а не накручивал себя, но такой уж Анджум человек — скрытная, предпочитает сама решать свои проблемы; тем ценнее ее признания. Кришан и Анджум все беседовали, пассажиры в вагоне понемногу ложились спать, выключали свет в своих купе, задергивали занавески на полках; с Дивьи и матери Анджум разговор перешел на отношения между родителями и детьми, финансовую независимость и другие отвлеченные темы, Кришан все более оживлялся, словно только сейчас между ними все стало привычным, как прежде, шутил, касаясь рукой то предплечья, то колена Анджум, и она со смехом отталкивала его. Часов в девять — в половину десятого в вагоне выключили верхний

свет, Анджум зевнула, сказала, что хочет спать, Кришан немного расстроился — не потому что воображал, будто вечер завершится как-то иначе, а потому что только-только почувствовал прежнюю близость с Анджум и хотел сохранить в себе это чувство. Анджум встала, принялась стелить постель, Кришан неохотно поднялся, убрал вещи с нижней полки, стряхнул крошки, оставшиеся от ужина, и тоже постелил. Анджум уже приготовила себе постель, подошла сзади к Кришану, чуть сжала его левый локоть, прижалась грудью к его спине, шепнула: «Спокойной ночи». Потом проворно вскарабкалась по железной лесенке на верхнюю полку, поправила подушку, задернула занавеску и скрылась из глаз.

Кришан присел на край полки, посмотрел налево, направо, гадая, что делать дальше. Вагон не подавал признаков жизни, никто не шевелился, на всех полках были задернуты занавески, яркие флуоресцентные потолочные лампы выключили, вместо них горели две лампы накаливания в противоположных концах вагона, придававшие полумраку тускло-янтарный оттенок. Можно было включить над своей полкой лампу для чтения, но читать не хотелось, Кришан весь день читал — или хотя бы пытался. Внезапные и сильные

перемены настроения совершенно его измотали, хотелось разве что молчать и думать, но больше всего — побыть наконец одному. Кришан решил, что будет смотреть в окно — если, конечно, за окном будет хоть что-нибудь видно, — снял сандалии, улегся на полку, задернул занавеску: его окружила утробная темнота. За поцарапанным горизонтальным стеклом проносились сельские пейзажи, окутанные призрачной иссиня-черной тьмой. Кришан прижался лицом к стеклу, силясь разглядеть, что именно они проезжают, но заметил только огни вдалеке да мелькавшие там и тут деревья, словно все, мимо чего они проезжали, не имело названия и лишь нескончаемый стук вагонных колес отмечал их перемещение сквозь толщу ночи. Кришан поднял руку, погладил мягкую кожу с испода полки Анджум. Он ощущал, как она лежит над ним, в своем обособленном пространстве, и мысль о том, что он совсем рядом с нею и вместе с тем совершенно отдельно, усугубила его одиночество, но Кришан не чувствовал ни тревоги, ни даже грусти, а только покой, почти удовольствие. Ему давно не случалось пребывать в таком уединении, не случалось чувствовать такого сдержанного спокойствия, такой самодостаточности, столь отличной от одиночества,

владевшего им последние месяцы. В отличие от этого одиночества, полного отчаянного, почти беспомощного желания, чтобы Анджум очутилась рядом, непрестанного беспокойства о том, действительно ли Анджум хочет быть с ним, сейчас ему отчего-то казалось, будто ему не нужен никто, кроме него самого, даже Анджум, будто он способен отказаться от мира, от всего, что тот предлагает, и принять самого себя, пусть несовершенного и полного пробелов.

Кришан никогда не считал себя навязчивым — даже сейчас, в состоянии душевного покоя, это слово давалось ему с трудом, — но правда заключалась в том, что в последние месяцы он настолько сильно зависел от знаков внимания и расположения Анджум, настроение его так сильно менялось от того, что она сказала или не сказала, сделала или не сделала, что порой Кришан казался жалким даже самому себе. Он заметил, что превращается в ревнивца, если не собственника, его раздражало, что они встречаются лишь когда у Анджум есть время, и хотя отчасти эти его чувства объяснялись поведением Анджум — Кришан догадывался, что и Дивья в отношениях с Анджум неспроста вела себя как собственница, — он все равно невольно презирал

себя за мелочность мыслей. На пике отчаяния ему представлялось единственным выходом отстраниться совершенно, попытаться психологически освободиться от Анджум, отчасти из-за возмущения, безысходности, пожалуй, и стремления ранить ее, но главное — чтобы избавить себя от боли слишком сильного желания. В такие минуты он переслушивал запись «Шивапуранам», купленную несколькими годами ранее, вскоре после того, как он впервые услышал ее на похоронах дальнего родственника в Коломбо. Усопшего Кришан почти не знал, однако, слушая выступавшего перед горсткой собравшихся певца, специально приглашенного на похороны, невольно растрогался и даже прослезился, зачарованный его звучным монотонным голосом, медленно нараставшим, точно в заклинании, ритмом песнопения, написанного по-тамильски несколько сотен лет назад; языка Кришан толком не понимал, однако догадывался, что песня о боли того, кто воплотился и вынужден был прожить множество разных жизней — и стебельком травы, и червяком, и человеком, — вынужден был терпеть бесчисленные существования, одолеваемые земными страстями, хоть и мечтал при этом оставить земную жизнь, избавиться от

привязанностей и бремени тела, усесться у ног Шивы. Кришан слушал эту песню в минуты отчаяния или напевал ее про себя: так ему было легче выдерживать неопределенность отношений с Анджум, он утешался грезами, будто бы насовсем покинул этот мир, разорвал все связи с Анджум, бросил ее навсегда: расставание с нею, пусть даже в мечтах, неизменно его успокаивало. Кришан подозревал, что в его потребности или полностью слиться с Анджум, или полностью отстраниться от нее, в неспособности найти компромисс кроется нечто нездоровое, и, поостыв, думал о том, получится ли у него изменить отношение к Анджум, как-то приспособиться к той, которая явно хочет быть с ним, но лишь время от времени и с известными оговорками. Возможно, ему стоит привыкнуть быть благодарным уже за то, что порою им удается встретиться, гадал Кришан, а когда не удается, довольствоваться одиночеством; стоит приучить себя к тому, чтобы наслаждаться обществом Анджум, когда получается увидеться, а если не получается, то не беспокоиться и не бояться, гнать прочь изнурительную тревогу, столь часто владевшую им, когда не получалось поговорить или встретиться с Анджум, когда она замыкалась в себе и не желала распространяться

о своих планах. Слушая «Шивапуранам», Кришан представлял себе море на Шри-Ланке, каким оно бывает в спокойные месяцы — в частности, море в Тринкомали, каким он увидел его однажды теплым июньским вечером: мерцающая, блестящая синяя гладь простиралась до самого горизонта. Кришан думал о том, как волна не спеша набегает на отлогий берег, с нежностью прокатывается по ровному выглаженному песку и, достигнув края, замедляет бег, останавливается на мгновение, точно хочет перевести дух, и, напоследок обняв наскоро землю, наконец выпускает ее и со вздохом возвращается в море. Он думал о море, о том, как волны его катятся мирно и безмятежно вдоль края земли, с любовью и благодарностью касаются берега и в свой час отступают изящно; сумею ли я, гадал Кришан, подобно волнам, после встречи с Анджум возвращаться к себе так же изящно и невозмутимо, прилепляться к той, кого люблю, и отлепляться от нее, не разрывая себе душу, хотя и знал: правда в том, что такое возможно лишь в определенные моменты, по крайней мере для него, в моменты, когда он по какой-то причине недолго владеет собой, ибо трудно в угаре страсти оставаться философом, трудно в блаженстве соединения или безумии расставания удаляться

от мира так, как это подвластно верующим.

Сложно сказать, долго ли он просидел, глядя в окно, погрузившись во мрак пролетавшего мимо мира и одновременно углубившись в себя, но в какой-то момент — через полчаса ли, час после того, как Анджум пожелала ему спокойной ночи и удалилась к себе, — Кришан услышал, что полка ее скрипит, Анджум двигается. Сперва он заключил, что она, как обычно, ворочается во сне, но чуть погодя занавеска на его полке дрогнула, и янтарный вагонный свет на мгновение проник внутрь. Занавеска отодвинулась, к нему заглянула Анджум, прищурясь, силилась разглядеть его в темноте полки, определить, спит ли он, и Кришан догадался согнуть ноги в коленях, чтобы дать ей понять, что не спит. Анджум отдернула занавеску, огляделась, убедилась, что никто не смотрит, забралась на полку к Кришану и задернула занавеску; их снова окутала тьма. Анджум на четвереньках двинулась к Кришану, уверенно, несмотря на узость полки, и он вытянул ноги, чтобы Анджум подобралась ближе. Тела их еще не соприкасались, но голова ее была над его головой, они ловили взгляды друг друга, не шевелились и, заметил Кришан, даже не дышали. Им не требовалось говорить, он и без слов чувство-

вал, зачем она пришла, и когда она очутилась на его полке, ни капли не удивился, точно все это время ждал ее. Кришан впервые за три недели был так близок к Анджум, он чуял слабый душок ее пота, его так и подмывало обнять ее, прижать к себе, но он не шелохнулся, лежал, вытянув руки вдоль тела, отчасти чтобы не утратить новообретенного самообладания, ощущения, что он не нуждается ни в ней, ни в ком бы то ни было, а отчасти чтобы продлить предвкушение соития, которое — он в этом не сомневался — вот-вот случится, предвкушение потери себя: он знал, что снова отдастся этому чувству — и ему, несмотря ни на что, очень этого хотелось, пусть он только что, казалось бы, обрел власть над собой. Правой рукой Кришан легонько погладил Анджум по бедру, желая обнять ее, но вместе с тем опасаясь более тесного соприкосновения, Анджум опустила голову, провела губами по его губам. На миг задержалась над ним, согревая его кожу своим дыханием, потом скользнула губами по его шее и принялась не то чтобы целовать, а гладить его сомкнутыми губами, от шеи к щеке, по лбу, снова к губам и опять не столько поцеловала, сколько прижалась ртом к его рту, тела их напряглись от этого мимолетного касания. По окну полоснул

и мгновенно исчез луч серебристо-синего света, Анджум подняла голову, выглянула в окно, застыла. Должно быть, они проезжали станцию или какой-нибудь городишко, не о чем беспокоиться, за окном снова мелькнул свет, наполнив пространство по ту строну занавески мягким электрическим сиянием; Анджум повернула голову к Кришану, они встретились взглядами, по-прежнему не говоря ни слова, она смотрела на него, он на нее. Свет за окном озарял их лица только мгновение, но Кришану казалось, что дольше, точно в этом кратком серебристом свечении он одновременно и с великой ясностью увидел черты Анджум — и нос с сережкой-гвоздиком, и темно-карие глаза с густыми ресницами, и нежный пушок на мочках: так молния освещает темную комнату, и все ее содержимое на миг представляется единым целым; лицо Анджум так живо отпечаталось в его памяти, что, когда свет погас и их вновь поглотила тьма, Кришан видел Анджум, как в тот миг, когда их залил свет и они не отрываясь смотрели друг другу в глаза, но их напряженные тела не соприкасались — вдруг поезд остановится, войдут или выйдут люди. Вагон покачивался, полка и стекла дрожали от стука железных колес, Анджум еле слышно

выдохнула и опустилась на Кришана, теперь их тела полностью сомкнулись, они все сильнее, глубже погружались друг в друга, не замечая ничего, кроме движения своих ног и рук, запаха кожи, приглушенных стонов и шепота, возносясь целокупно ввысь сквозь безымянную ночь.

Так они лежали какое-то время, молча вдыхали, выдыхали, медленно разрывая кокон, возвращались каждый в свой мир. Может, покурим, предложил Кришан, как водилось у них после секса; давай, прошептала Анджум, я с удовольствием. Она вышла первой, Кришан выждал минуту-другую и тоже принялся пробираться по темному вагону, стараясь не шуметь, хотя вряд ли кто-то его услышал бы. Кришан открыл дверь, вышел в тамбур, в лицо ему ударил прохладный ветер, Кришан прищурился от флуоресцентного света, увидел, что Анджум стоит слева у открытой двери и смотрит на пролетающие мимо пейзажи. Кришан осторожно взял ее за плечо, она мигом повернулась и закрыла тяжелую железную дверь, чтобы не дуло. Достала из кармана сигареты, одну протянула Кришану и зажгла обе в безветрии замкнутого пространства. Снова открыла дверь, закрепила ее на стене, в тамбур опять рванулся ветер, Анджум стояла в дверном проеме и смот-

рела наружу. Кришан бросил взгляд поверх ее плеча на землю, мимо которой они проезжали, на мелькавшие очертания деревьев, кустов: все окутывала тьма, представлявшаяся бесконечной. Стоять в одном проеме с Анджум было тесно, и Кришан, легонько стиснув ее загривок, отошел к закрытой двери напротив: ему хотелось чуть-чуть побыть одному, осмыслить случившееся. Он нажал на ручку двери, открыл ее, закрепил к стене, чтобы тоже выглянуть наружу, затянулся сигаретой; все, что вблизи, проносилось мимо, неосвещенный же горизонт казался неподвижным, ветер бил в лицо, тонкий стальной пол дрожал под его ногами. Они могли быть где угодно на бескрайнем просторе меж Бомбеем и Дели, в бесконечной стране, всегда олицетворявшей для Кришана конец и начало времен, и, глядя на серебристые очертания деревьев и опоры линии электропередачи, подчеркивавшие плоскость ландшафта, Кришан вдруг поймал себя на том, что его снова тянет к Анджум, так и подмывает обнять ее, сказать, как сильно он любит ее, как страстно ее желает, признаться, как тосковал без нее. Кришан щелчком отправил окурок за дверь — искра мелькнула, растаяв в редеющей тьме, — и повернулся к Анджум, а та, наверное,

почувствовала его взгляд: тоже выбросила окурок и обернулась к нему. Она стояла, не двигаясь, в дверном проеме напротив Кришана, чуть наклонившись вправо, одной рукой по-прежнему сжимала поручень, просторная ее рубаха парусила на ветру. Белый свет, падавший с потолка, подчеркивал прелесть Анджум, резче выделял строгость ее черт — глаза сощурены, брови насуплены, на губах усталая блаженная улыбка. За спиной Анджум в дверном проеме миг за мигом проносилась темная земля, миля за милей тянулись, появляясь и исчезая, неизвестные места, где люди живут своей неизвестной жизнью, но Кришан не отрываясь смотрел на Анджум, а она на него, и обоим казалось, будто они потерялись в этой далекой ночи, сквозь которую с грохотом мчится поезд, словно все эти бескрайние просторы пролегли прямо здесь, в тамбуре между ними, словно близкое и далекое каким-то неведомым образом сложилось в одно пространство. Кришан не знал, что будет между ними дальше, в ясности этого мига и легком опьянении табаком догадывался: предсказать ничего нельзя, и пока он с Анджум, так и будет метаться меж упоением и тревогой. Он смотрел на нее, она на него, за ее спиной пролетали пейзажи, но Кришан сознавал лишь, как

моргает Анджум, как колотится его сердце, — и радовался тому, что они с Анджум пребывают в одном времени, одном пространстве, что хотя бы сейчас они делят мгновение, то мгновение, в котором уместилось не только близкое и далекое, но и прошлое, и будущее, мгновение, лишенное длины, ширины, высоты, тем не менее вмещало в себя все самое главное, точно прочие составляющие мира — лишь вселенские декорации, иллюзия, что, будучи разоблаченной, беззвучно исчезнет. То, что за неимением лучшего слова называют любовью, понял Кришан в тот вечер, не столько отношения между двоими, сколько отношения между двоими и миром, которому они свидетели, миром, чья видимость и пелена улетучивается по мере того, как эти двое все больше и больше погружаются в то, что зовется любовью. Влюбленность — или то, что достойно называться влюбленностью, понял Кришан в тот вечер, — состояние не столько эмоциональное или психологическое, сколько эпистемологическое, состояние, в котором двое держатся за руки и в безмолвном изумлении смотрят, стиснув зубы, нахмурив брови, как с окружающего их мира постепенно спадают покровы, как лживость обыденной жизни редеет и тает перед глазами, яркие

краски, громкие звуки, поверхностные восторги, тревоги, — все уходит одно за другим, остается лишь время, обнажившееся до сути, как единственный способ постижения мира, так что, даже если это состояние продлится недолго, даже если будет утрачено, как утрачивается всегда, в силу привычки ли, обстоятельств или медленного, печального шествия лет, подаренное им знание все же останется, знание о том, что жизнь, в которой мы обычно участвуем, не вполне настоящая, что времени необязательно идти так, как оно обычно проходит, что можно жить, дышать, двигаться в едином моменте, что единый момент бывает не костяшкою на спице счетов конечной длины, а океаном, в который можно войти, но никогда не достичь далеких его берегов.

С той поездки, с того момента, когда они стояли друг напротив друга в ночном поезде до Бомбея, минуло почти четыре года, и, сидя сейчас в поезде, идущем с одного конца его родины на другой, Кришан в который раз думал о том, сколько времени пролетело, сколько всего случилось, сколько переменилось. Прочитав в пятницу письмо Анджум, он гадал, что ей ответить, насколько подробно описать ту жизнь, какою он нынче живет, быть искренним или же равнодушным.

Он представлял, как расскажет Анджум о том, чем занимался по возвращении на Шри-Ланку, о двух годах на северо-востоке, о первоначальном рвении, сменившемся утратой иллюзий, о жизни в Коломбо, о прочитанных книгах, о вечерних прогулках. Интересно, как она отреагирует на его письмо. Кришан воображал, как поразится Анджум, когда прочитает обо всем, что он сделал и повидал, когда осознает, сколько он всего понял о жизни и о себе. Ответит она не сразу, а чуть погодя, через неделю-другую, между ними мало-помалу завяжется переписка, медленная, вдумчивая, даже исповедальная, и, наконец, они встретятся где-нибудь на нейтральной территории, мечтал Кришан, Анджум, конечно же, удивится, снова увидев Кришана, изумится тому, как он возмужал за эти четыре года, как раздались его плечи, как окрепли руки и ноги, как осунулось лицо, изумится уверенности, с которой он теперь держится и говорит. Мысль о том, чтобы написать Анджум, обнадежила его в пятницу, точно перед ним открылась неожиданная возможность, а именно — возможность восстановить связь с прошлым, которое он почти позабыл, пожалуй, даже возможность воссоединиться с Анджум, но, размышляя об этом сейчас,

Кришан уже сомневался, стоит ли писать ей: этот жест показался ему наивным. Он знал, что, думая о людях из прошлого, мы склонны воображать их прежними, в то время как сами переменились, будто другие люди и места застывают, стоит нам уйти, будто их время замирает, а движется только наше. Думать так — ошибка, ведь люди и обстоятельства непрестанно меняются, а в случае с Анджум и вовсе наивно, слишком она стремительна и активна, чтобы остаться прежней, ее вечно влечет к неизвестному, и если выяснится, что оно того стоит, Анджум охотно усвоит его и впитает. Пожалуй, она не очень-то удивится тому, как Кришан изменился, и едва ли его перемены произведут на нее впечатление, ведь и ей, несомненно, за эти четыре года довелось пережить многое, она тоже, несомненно, росла и развивалась, и не только во взглядах и мнениях, но, вероятно, в привычках и манерах. Кришан вдруг осознал, что даже не представляет, запрокидывает ли Анджум по-прежнему голову, когда смеется, крутит ли в задумчивости серебряное кольцо на среднем пальце, носит ли она вообще это кольцо. Ему хотелось знать не о том, где она живет и чем занимается, а о таких мелочах, о малых, почти незаметных переменах в привычках

и манерах, порой означающих, что человек ныне смотрит на мир совершенно иначе. Ему хотелось знать, чувствует ли она тоже, что в последние годы бремя ее сделалось тяжелее, утомило ли ее течение времени, но об этом-то как раз не напишешь по электронной почте, об этом не спросишь и не расскажешь в письме, посланном в пустоту. И даже если бы Кришану удалось составить такое письмо, он, как якша в поэме Калидасы, не сумел бы поделиться тем, чем в действительности желал поделиться: как выразить все, что с ним стало за минувшие годы, как выразить все пережитое, все события, перемены, все накопившееся, с чего начать и чем закончить? Что толку пытаться рассказать о времени, что пролегло между ними, подобно реке: оно утекло, и вернуть его невозможно, — что толку, если все, чего можно добиться таким вот письмом — напомнить себе и ей, сколь многое их некогда связывало, если единственный способ уберечь бывшее между ними — никогда уже не встречаться и признать, что нет таких слов, которые могли бы преодолеть пропасть, разверзшуюся между ними?

Поезд замедлил ход, сосед Кришана и прочие пассажиры зашевелились, Кришан посмотрел в окно и увидел, что поезд прибыл в Анурадхапуру,

древний центр буддистского учения, последний крупный сингальский город перед севером. Здесь вышла едва ли не половина пассажиров, почти все сингальцы, судя по виду, и в вагоне, не считая аккуратно одетых, гладковыбритых, короткостриженых военных, возвращавшихся на базы после увольнения, проведенного на юге, остались в основном мусульмане и тамилы. Чуть погодя начальник станции дал свисток, поезд, помедлив, рывком тронулся, Кришан прислонил голову к стеклу и глядел на пролетавший за окном вокзал и город. Пейзажи уплощились, стали суше; растительности по-прежнему было много, по-прежнему время от времени попадались рисовые поля, однако здесь уже не было ни южного буйства зелени, ни густых зарослей папоротников и цветущих растений, ни ярко-зеленых пучков риса над серебристой водой. Обильную листву сменили поля высокой травы с росшими тут и там деревьями, деревни, которые они проезжали, казались более сонными и безлюдными, сплошь одноэтажные домики да брошенные лачуги, разве что изредка заметишь сидящего на пластмассовом стуле старика или старуху, провожающих скучливым взглядом несущийся мимо поезд. Кришан вспомнил, что мать просила

его позвонить, когда он доедет до Анурадхапуры, разговаривать не хотелось, но он тем не менее достал телефон и набрал ее номер. Мать ответила не сразу, голос ее казался печальнее и тише обычного; Кришан сообщил, что проехал Анурадхапуру и часа через два прибудет в Килиноччи. Он уточнил, не звонила ли дочь Рани, выяснил, что не звонила, и спросил, как чувствует себя аппамма. Так себе, замявшись, ответила мать, я утром зашла к ней, а она сидит, закрыв лицо руками, телевизор выключен, хотя в это время как раз показывают ее любимую передачу. Глаза мокрые, явно плакала, я понятия не имею, чем ее утешить, она ведь почти никогда не плачет. Аппамма рыдала или просто плакала, спросил Кришан, не знаю, ответила мать, но, похоже, плакала сильно. От завтрака отказалась и голову мыть не пожелала. Кришан попытался узнать что-то еще, но мать раздражали его вопросы, она считала, что поведение аппаммы — вполне естественная реакция на случившееся и это пройдет. Они с Кришаном поболтали еще чуть-чуть, мать в который раз объяснила ему, как добраться до деревни Рани, спросила, надежно ли он спрятал деньги, которые взял с собой, и повесила трубку.

Кришан положил телефон на соседнее сиденье

и молча повернулся к окну, не зная, как относиться к словам матери. Его тревожило, что аппамма плакала у себя в комнате, мать права, бабка действительно редко плачет, но еще больше его пугало, что она отказалась мыть голову. По воскресеньям бабка всегда мыла голову, это был один из главнейших ритуалов, сообщавших ход ее жизни, пусть утомительный для нее, но бабка выполняла его с неукоснительной регулярностью, и если сегодня поутру она не намочила волосы и не вымыла их шампунем, то потому лишь, догадался Кришан, что смерть Рани потрясла ее до глубины души. По тому, как бабка поначалу отреагировала на известие, он заключил, что оно опечалило ее, но не задело, не ранило, как, впрочем, и смерть многих, казалось бы, важных для нее людей — к примеру, той же сестры (ее не стало несколько лет назад), бабка погоревала денек-другой, а потом будто и думать о ней забыла, и даже смерть мужа (тому минуло несколько десятков лет): мать говорила, на его похоронах бабка даже не плакала. Кришан осознал, что смерть Рани подействовала на бабку куда серьезнее, чем смерти всех прочих, эта утрата сказалась на ее душевном здоровье так сильно, что, возможно, повлияет и на телесное. Вернуть аппамму к

жизни удалось главным образом благодаря Рани, и не только потому, что она ухаживала за бабкой в те первые недели, уделяла ей внимание, но и потому, что постоянно была рядом с ней в последующие месяцы. Именно Рани сыграла главную роль в том, что аппамма поправилась, именно Рани положила конец ее изоляции, без нее бабка часами просиживала в комнате одна, именно Рани заменила аппамме тот мир, с которым ее разлучили. И ее внезапный отъезд, тот факт, что Рани их бросила, даже не поставив бабку в известность, та восприняла как личную обиду, ей стоило немалых душевных усилий простить такое предательство, сочинить приемлемую историю, почему Рани так резко оборвала все связи. Неважно, насколько правдоподобным было бабкино объяснение — она, разумеется, приписала случившееся психическому расстройству Рани, а вовсе не тому, что ее чем-то не устраивала жизнь в Коломбо, — Кришан теперь понимал, что известие о смерти бывшей сиделки окончательно отрезало аппамму от внешнего мира, который для нее воплощала в себе Рани. Вполне вероятно, аппамме теперь, как прежде, будет очень одиноко, жизнь ее лишится значимых стимулов, силы вновь оставят ее, настроение ухудшится, остро-

та ума, энергичность, дух и тело вновь сообща устремятся в забытье.

Удивительно сознавать, что бабка так сблизилась с Рани, так доверилась ей, несмотря на первоначальные подозрения и обиды, так привязалась и, можно сказать, даже подружилась с ней. Кришан поначалу нервничал из-за того, как аппамма примет Рани, как станет к ней относиться — как к сиделке или к служанке, которой можно помыкать, — выкажет ли ей уважение и понимание, подобающие той, кто пережила такие потери. Первые недели пребывания Рани в Коломбо прошли гладко, аппамма еще толком ничего не понимала, даже не замечала присутствия Рани в комнате, воспринимала ее как должное: так новорожденный воспринимает как должное факт, что его покормят, выкупают и переоденут. А потом опасения Кришана оправдались: несколько недель спустя аппамма уже лучше ориентировалась в происходящем и, приходя в себя, обнаруживала, что отныне ее жизнь связана с незнакомкой. Рани казалась ей чужой, мошенницей, которая, с одной стороны, олицетворяла нынешнюю бабкину беспомощность, а с другой — постоянно отнимала у нее внимание родных, внимание, полагала бабка, по

праву положенное только ей. По мере того как речь и память возвращались к аппамме, та, как ни парадоксально, все больше впадала в детство, признавала лишь собственные желания и пуще прежнего раздражалась, когда их не спешили исполнять. Кришан вспомнил, как в выходной день — Рани тогда прожила у них всего месяц-другой — он вошел к бабке и увидел, что Рани лежит на циновке на полу, закрыв лицо руками, точно от света. Кришану было неловко, что Рани спит на полу, словно она тем самым выражала легкое неодобрение его образу жизни, но Рани настаивала, что ей так удобнее, хотя Кришан поставил в бабкину комнату кровать брата; не привыкла я на матрасах, уверяла его Рани, мне намного удобней на прохладном и твердом полу. Когда Кришан вошел в комнату, Рани медленно повернулась к нему, будто и не спала, а лежала, задумавшись, глаза у нее были красные, волосы всклочены больше обычного. Что случилось, спросил Кришан, ничего, ответила Рани, просто я ночь не спала, вот и все. У меня бессонница, добавила Рани, мне нездоровится, вот и не спится из-за болезни. Кришан знал, что она имела в виду под «нездоровится», но они впервые открыто упомянули о ее психическом состоянии, причем

эту тему подняла сама Рани, и Кришан, чтобы дать ей выговориться, уточнил, что она имеет в виду. Сейчас покажу, ответила Рани, встала, пошатываясь, прошла в угол, где лежала ее сумка, порылась в ней и достала картонную папку. Вот почему мне нездоровится, сказала Рани, достала из папки две фотографии средних размеров и протянула Кришану, на первой был паренек лет пятнадцати или шестнадцати в черном костюме на пару размеров больше, — снимок сделали в студии, на небесно-лазурном фоне, — а на второй мальчишка лет десяти-одиннадцати, в рубашке и брюках, и этот снимок тоже сделали в студии, на том же лазурном фоне. Первый — мой старший сын, пояснила Рани, он погиб на войне, а второй — младший, он сгинул во время бомбежки семнадцатого мая, в предпоследний день войны.

Кришан неуверенно взял фотографии, взглянул на парнишек, оба неловко вытянули руки по швам, явно впервые позировали в ателье. Наверное, нужно спросить у Рани, как их звали, подумал Кришан, но все же решил подождать, пока она скажет сама, и краем глаза заметил, что аппамма раздраженно ворочается в постели, явно стараясь привлечь его внимание. Ей не нравились его долгие беседы с Рани, аппамма

считала, что раз болеет она, то и все внимание причитается ей одной, а Рани здорова и ее дело — заботиться о ней. Не желая потакать аппамме, Кришан не отрываясь смотрел на Рани, та как раз говорила об обстоятельствах гибели своего младшего сына. Это случилось

Это случилось ранним утром, рассказывала Рани, мы пытались выбраться с территории, подконтрольной «Тиграм», пересечь линию фронта, поскольку нас бомбили круглосуточно уже несколько месяцев. Конечно, мы сомневались, стоит ли уходить за линию фронта, опасались, что попадем под перекрестный огонь и нас убьют, не знали, как обойдутся с нами солдаты правительственных войск, когда мы перейдем на их сторону, но в конце концов решили, что все-таки безопаснее пересечь линию фронта, чем жить под обстрелом. Тут подала голос аппамма, все шумнее ворочавшаяся в постели, и заявила, что фильм сегодня дрянной и раз показывают такую дрянь, лучше выключить телевизор. Неуместное замечание, телевизор и так был выключен, и Кришан, чтобы показать Рани, что внимательно ее слушает, спросил, кто еще был с нею. Муж, младший сын, дочь и семья сестры, ответила Рани, мы скитались вместе. И в то утро около

получаса бродили по разбомбленному лагерю, пытаясь отыскать удачное место, чтобы перейти линию фронта, как вдруг раздался пронзительный свист — это значит, на нас летел обычный снаряд, пояснила Рани, у каждого снаряда свой звук, и у кассетных бомб, и у ракет, и даже у дронов. Мы бросились бежать, хотя и не знали, движемся ли к снаряду или от него, и чуть погодя он упал, не близко, но и не далеко. Оглядевшись сквозь клубы дыма и пыли, Рани заметила, что ее младший сын рухнул на землю и не встает, она бросилась к нему и увидела, что в живот ему попал осколок: мальчик умер мгновенно, не успев даже вскрикнуть.

У Рани навернулись слезы, она отерла глаза, Кришан не знал, что сказать ей, как утешить, и тут бабка окликнула его с кровати. Он притворился, будто не слышит, но она раздраженно повторяла его имя, пока он не повернулся к ней. Бабка указывала на туалетный столик возле телевизора, там стояли банки консервированного тунца, брат сунул их ей в чемодан перед отъездом из Лондона. Я и забыла о них, громко сказала бабка, вспомнила только сегодня, вот как брат меня любит, всегда заботится обо мне, даже когда я болела, он купил мне тунца, он ведь

знает, как я люблю тунца. Но пока открывать не буду, рыбы сейчас завались, приберегу на потом, когда рыба подорожает. Кришан резко кивнул и с виноватым видом вновь повернулся к Рани, опасаясь, что вмешательство бабки обидело или оскорбило ее, но Рани как ни в чем не бывало продолжала рассказ. Делать нам было нечего, надо было бежать, говорила она, останавливаться было нельзя, снаряды все падали и падали. Я даже не смогла похоронить сына, ведь со мной была еще дочь, оставаться было опасно, я не могла рисковать ее жизнью, я так и не узнала, что стало с его телом. Аппамма, расценившая отрывистый кивок Кришана как неуважение, крикнула во все горло: там не просто тунец, некоторые банки с лимонной, перечной и томатной приправой, — но Рани так увлеклась, что словно ее и не слышала, продолжала, тоже повысив голос, рассказывать о том, как они бежали из лагеря, как перешли линию фронта, как их схватили солдаты армии Шри-Ланки, как обыскивали и допрашивали, как потом полтора с лишним года продержали в лагере для интернированных. Кришан не отрываясь смотрел на Рани, а она рассказывала, как в последние месяцы войны они потеряли почти все имущество и на память о сыновьях у

нее остались лишь эти два снимка, которые он держит в руках. Кришан не отводил взгляда, пока Рани не договорила; как ни боялся он, что бабка опять ее перебьет, а слушал, зачарованный странно-искренним и напряженным выражением ее глаз, Рани смотрела не в пустоту, как обычно, не вдаль, как смотрят люди, когда описывают случившееся в другое время, в другом месте, взгляд ее был живым и настороженным, будто бы то, о чем она рассказывала, разворачивается сейчас перед нею, будто она по-прежнему там и никогда оттуда не уезжала.

В первые два-три месяца, что Рани жила у них, подобное повторялось несколько раз; Рани, как правило, игнорировала бабкины замечания или отвечала быстро и резко, но близко к сердцу их не принимала. Со временем их стало меньше, отчасти потому, что мать Кришана неизменно осаживала свекровь, услышав бестактное замечание или требование, но главным образом потому, что аппамма, поправившись, перестала ребячиться, вновь научилась входить в положение другого и, самое главное, осознала, скольким обязана Рани, в ком неожиданно для себя нашла человека, на которого можно рассчитывать во всем, и в личных делах, и в общении с внеш-

ним миром, компаньонку, которая не оставит ее, даже когда все остальные уже пожелали аппамме спокойной ночи. Теперь именно к Рани она обращалась с вопросами, что происходит внизу, что готовят на ужин, сколько стоит лук, кокосы и баклажаны, как поживают различные растения в саду, — вопросами, которые прежде аппамма адресовала Кришану и его матери и на которые Рани, в отличие от них, была вынуждена отвечать. Глаза, уши, руки и ноги Рани заменяли выздоравливающей аппамме собственные органы движения и чувств, с их помощью она стала активнее участвовать и лучше разбираться не только в домашних делах, но и осознавать, что происходит за пределами дома. Благодаря Рани расширились ее представления о мире, отныне в него входили север и восток, районы страны, где она выросла, жила с мужем и откуда уехала давным-давно. От Рани аппамма узнала подробнее о войне, Килиноччи и Джаффне, о том, как жили люди на территориях под контролем «Тигров», как там сейчас, под контролем правительства, благодаря Рани аппамма начала читать газеты, чаще смотреть вечерние новости, интересоваться политикой, вдобавок обзавелась собственными политическими воззрениями, чего на памяти

Кришана за ней не водилось. Эти познания, ощущение причастности к жизни вкупе с круглосуточным присутствием компаньонки, с кем можно беседовать, смотреть телевизор, спорить, делиться мнениями, шутить, придали аппамме сил, улучшили настроение, она не только оправилась, но стала бодрее, чем была до поездки в Лондон. Она окрепла, стала подвижнее, моложавее, энергичнее прежнего, и стало ясно, что в последние годы она сдала не столько из-за того, что постарела, сколько из-за того, что не выходила из дома, сидела одна-одинешенька, ничего не делала, ни с кем не общалась: именно это и привело к истощению ее сил куда быстрее, чем какой бы то ни было физический процесс.

Кришан вспомнил, как однажды, когда аппамма уже совершенно оправилась, он утром зашел к ней в комнату и застал их с Рани за разговором: обе, казалось, были в добром расположении духа, Рани объясняла аппамме, что к чему в том фильме, который они только что досмотрели. Кришан поздоровался с Рани, спросил бабку, как ей спалось, а та с деланым отчаянием театрально шлепнула себя по лбу и с лукавой улыбкой ответила, что всю ночь провозилась с Рани, можно подумать, это она сиделка Рани, а не наоборот.

Кришан нервно покосился на Рани, не зная, как она отреагирует на это заявление, но Рани тоже улыбалась, отчасти от смущения, отчасти от того, с каким оживлением аппамма описывала случившееся. Ночью меня разбудили стоны и крики, продолжала аппамма, я испугалась, думала, в дом залезли воры, а то и стряслось чего похуже. Я села в кровати, никак не соображу, откуда шум, потом повернулась, смотрю, а это Рани вопит, ей опять приснился кошмар. Ну, я подошла, трясу ее за плечо, бужу, она проснулась, но успокоилась не сразу. Так мы больше и не уснули, Рани всю ночь ворочалась, что-то громко бормотала и еще дважды просыпалась с криками. Рани-то хорошо, продолжала аппамма, притворяясь расстроенной, но с широкой улыбкой, Рани днем отоспится. А мне что прикажешь делать, я-то днем не усну, мне-то как быть? Они тогда посмеялись над шутливым рассказом аппаммы, но Кришан несколько встревожился, он знал, что Рани снятся в кошмарах последние месяцы войны, чаще всего гибель младшего сына, иногда что-то такое, что она видела или слышала. Он-то считал, что на подобные темы следует рассуждать с величайшей серьезностью, к таким темам следует подходить торжественно и величаво, как на по-

хоронах, и его смущало легкомыслие, с каким их касалась аппамма. Тогда он еще жил и работал на северо-востоке, перевидал множество тех, кто, как и Рани, пострадал от войны, но ни с кем не сблизился настолько, чтобы ему рассказывали о пережитом. И лишь после того, как Кришан перебрался в Коломбо, пожил под одной крышей с аппаммой и Рани и понаблюдал за развитием их отношений, ему пришло в голову, что, быть может, прежде он заблуждался. Пережитое Рани во время войны, как ни крути, стало частью ее повседневности, она не могла не думать об этом, не реагировать на это, даже когда просыпалась, ела, исполняла свои обязанности или спала; с его стороны глупо было воображать, будто этот мучительный опыт относится к какой-то отдельной сфере ее жизни. Для Рани он сосуществовал с различными обыденными потребностями, и по этой причине она не могла воспринимать его с той же серьезностью, что Кришан. Аппамма позволяла себе посмеиваться над Рани, спорить с ней, делиться историями, позволяла себе соперничать с Рани за внимание внука и за влияние в доме — словом, аппамма относилась к ней как к равной, как к той, которая переживает нечто совершенно обычное и нормальное: ей не надо

мешать, ее не надо жалеть, над нею не надо трястись. И даже если бесцеремонность аппаммы порой задевала Рани, все-таки в целом с аппаммой Рани чувствовала себя куда свободнее, чем с Кришаном; быть может, именно благодаря этой небрежности аппаммы они с Рани сблизились, даже сдружились — стремительно стареющая женщина, из последних сил цеплявшаяся за жизнь, и незнакомка: раны ее невидимы, она не заботится о том, останется или уйдет, — тогда как Кришану, несмотря на все его старания и чувство вины, так и не удалось сблизиться с Рани.

7

Странно было думать о том, что Рани с аппаммой два года прожили бок о бок в одной комнатенке, о том, как неожиданно пересеклись их дороги, — одна вроде как сиделка, вторая вроде как подопечная, хотя каждая из них была по-своему нездорова и предполагалось, что совместное проживание благотворно скажется на обеих. Кришан поначалу боялся, что Рани станет хуже от переезда из родной деревни на юг Шри-Ланки, где у нее ни друзей, ни родных, да и на языке большинства она толком не говорит, но вскоре после ее прибытия и Кришан, и его мать обратили внимание, что Рани приободрилась, и даже доктор это заметил, когда она после двух месяцев в Коломбо приехала на осмотр в Ваванию. Смена обстановки помогла ей отстраниться от пережитого, а работа, пусть и не требующая особых усилий, дала ей направление и цель, не позволяла лежать целыми днями, как было, когда Рани жила с дочерью. Немаловажно и то, что Рани теперь зарабатывала больше дочери и зятя: благодаря этому она заняла новое положение в семье: она не была обузой, превратилась в важ-

ный источник материальной поддержки, порой одалживала деньги то дочери, то нуждающимся родственникам. Наезжая в деревню, Рани покупала подарки двум внучкам — платья, заколки, шоколадки, все, что ей приглянулось и что она могла себе позволить, и каждый раз, как Рани разговаривала по телефону с дочерью, внучки вырывали у той трубку и спрашивали, когда приедет бабушка. Кришан заметил, что Рани, рассказывая о внучках — одной пять, другой семь, обе умницы, болтушки, упрямицы, — сияла, а такое с ней случалось нечасто. Ей, кажется, было очень приятно, что она занимает такое важное место в их мыслях, и Кришану не раз приходило на ум, что внучки, наверное, отчасти заменяют Рани умерших сыновей, хотя, возможно, удовольствие от общения с ними объяснялось просто-напросто тем, что человека, повидавшего немало смертей, особенно радует детская живость. Кошмары, разумеется, никуда не делись, как и плохие дни, когда Рани отмалчивалась, изнемогая под невидимым бременем, но чаще ей все же удавалось владеть собой, держаться и вести относительно нормальную жизнь. И лишь год спустя, когда Рани уже вполне освоилась в Коломбо, прижилась в их семье, стала неотъемлемой частью ее

ритма и обихода, пережитое вновь дало о себе знать, лишило ее сил и доброго расположения духа. Этот рецидив, несомненно, был связан со смертью мужа и племянника Рани: они умерли с разницей в считаные недели, муж скончался от рака, племянник разбился на мотоцикле; с виду казалось, Рани держит себя в руках, ни то ни другое событие словно и не задели ее, даже смерть мужа: Рани редко о нем говорила, Кришан впоследствии узнал, что она была двадцатью годами моложе мужа и вышла за него исключительно по настоянию родителей. Кришан полагал, что эти смерти лишь послужили катализатором и рецидив болезни Рани, скорее, объясняется силой и глубиной пережитой некогда травмы, от которой Рани так толком и не излечилась: новизна столичного быта только скрыла ее на время, но едва жизнь вошла в колею, как травма вновь дала о себе знать. В чем бы ни заключалась причина, но Рани сделалась неразговорчива, реже спала ночью и чаще днем, совсем запустила себя. Жаловалась, что ей нездоровится, подташнивает, кружится голова, постоянно ломит затылок: Кришан подозревал, что все эти симптомы скорее свидетельствуют о стрессе, чем о телесном недуге. Рани несколько раз созванивалась с врачом,

по его настоянию стала чаще ездить в Вавунию на сеансы электрошока, раз в полтора месяца добиралась туда автобусом и проводила несколько дней в больнице.

Кришан давно знал, что Рани лечат электрошоком, знал с того самого дня, когда впервые увидел ее в больнице и познакомился с нею, но стоило ему представить, как Рани ночует по соседству с душевнобольными, а днем ее бьют током, и ему делалось не по себе, точно ее решение продолжать лечиться означало, что в семье Кришана ей чего-то недодают, так или иначе не сумели ей помочь. Кришан почти всю свою взрослую жизнь пребывал в убеждении, что электрошоком уже давно никого не пользуют, что это устаревшее лечение давно ушедшей эпохи больниц для умалишенных. Впрочем, электрошоковую терапию он представлял себе очень смутно, и то — по жутким сценам из старых американских фильмов о душевнобольных: в этих сценах пациента привязывали к креслу или кровати, в рот вставляли затычку, крепили к вискам электроды, небрежно щелкали выключателем, и сквозь тело пациента, подобно грому и молнии, проходил сильный разряд тока, так что у больного глаза вылезали из орбит, сжимались челюсти, он бился

в конвульсиях, на шее и лбу у него надувались жилы. Это наиболее эффективная терапия при самых тяжелых формах депрессии, с трудом поддающихся лечению, сказал врач, когда Кришан впервые спросил об этом, Рани уже принимает несколько препаратов, таблетки от депрессии, тревоги, бессонницы — и для здоровья печени, уже серьезно пострадавшей от других лекарств. Но ни одно из этих лекарств не помогает ей так существенно, как электрошоковая терапия, пояснил врач, метод этот безболезненный, сеанс длится считаные минуты и начинается только после того, как пациенту дадут наркоз, так что, когда его бьют током, он не чувствует ничего. Но эти объяснения не развеяли подозрений Кришана, и однажды, когда разговор как-то сам собою зашел об электрошоковой терапии, Кришан уточнил у Рани, как это происходит на самом деле, действительно ли пациент не ощущает ни боли, ни дискомфорта. Рани взглянула на него, едва ли не удивленная таким вопросом, и покачала головой. Во время сеансов я никогда ничего не чувствую, отвечала она, потому что их всегда проводят под наркозом, и после тоже никаких неприятных ощущений, разве что слабость и в сон клонит. Кришан действительно замечал, что

Рани приезжала из Вавунии бодрее, энергичнее, разговорчивее и в целом живее, хотя рано или поздно возвращалась в прежнее состояние, вновь делалась молчаливой, рассеянной, вялой, словно это состояние обладало над нею какой-то магической властью и лишь электричество ненадолго рассеивало эти чары. В каждый ее приезд доктор считал необходимым увеличить интенсивность терапии, и если поначалу Рани назначали один-два сеанса в два-три дня, к концу ее пребывания в Коломбо она проходила три, четыре и даже пять сеансов за шесть, восемь или десять дней. В последние свои месяцы в Коломбо она из-за лечения становилась все забывчивее, порой теряла нить разговора, не помнила, приняла ли лекарства, а иногда, спустившись на кухню, гадала, зачем пришла. В последний визит Рани в больницу лечение было настолько интенсивным, что у нее еще несколько недель тряслись руки и ноги, так что она не могла принести аппамме чашку чая, не расплескав. Кришан позвонил врачу, чтобы выяснить, как быть, его беспокоили побочные эффекты, интересовало, помогает ли Рани лечение, стоит ли продолжать, учитывая последствия. После гибели сыновей Рани и окончания войны прошло без малого шесть лет, лечилась элек-

трошоком она почти четыре года, а лучше — по крайней мере, надолго — ей не становилось, так есть ли смысл, поинтересовался Кришан у врача, и дальше бить Рани в голову током, учитывая, что неизвестно, сколько еще продлится лечение? Врач ответил, что иначе, увы, никак: он уже увеличил Рани дозы лекарств, но это не помогло, побочные эффекты электрошоковой терапии — явление временное, а вот если ее прекратить, Рани наверняка станет хуже, причем очень скоро. Дело даже не в том, чтобы вылечить Рани — с каждым годом это все менее вероятно, — а в том, чтобы помочь ей как можно лучше приспособиться к жизни. Рани сама просила увеличить интенсивность терапии: жить ей невыносимо, чем дальше, тем хуже, вот врач и решил, что, учитывая обстоятельства, иного выхода нет.

Вскоре после этого разговора с врачом Рани на кухне порезала палец. Кришан начисто позабыл об этом и вспомнил только сейчас: после известия о смерти Рани случившееся с нею показалось ему чем-то вроде предупреждения или дурного предзнаменования, которое они тогда не поняли. В ту пору мать Кришана частенько просила Рани помочь с ужином, поскольку считала, что Рани полезно больше двигаться, заниматься какой-то

физической деятельностью, да и отдыхать от неумолчной болтовни аппаммы. Рани поначалу с удовольствием проводила время на кухне, радуясь возможности пообщаться с кем-то взрослым, причем так, чтобы аппамма не вмешивалась постоянно в разговор, но мысли Рани порой витали далеко и раз-другой она даже порезалась, когда измельчала мякоть кокоса. Однажды вечером Рани резала овощи, а мать Кришана, стоя к ней спиной, готовила тесто для досы[18]. Вдруг мерный стук ножа по разделочной доске умолк, мать Кришана обернулась и заметила, что Рани замерла, подняв левую руку к лицу, и на доску, прямо на дольки ярко-рыжей моркови, которую Рани резала, капает кровь. Рани молча и словно бы с любопытством рассматривала свою руку; мать Кришана истерически завизжала, спросила: «Что с вами, что такое?!» — бросилась к Рани и увидела, что та почти отсекла себе кончик среднего пальца, кусок длиной сантиметра в два. Резала морковь и случайно порезалась, невозмутимо пояснила Рани, наверное, надо отрезать его совсем, мать Кришана вновь завизжала, отобрала у нее нож, крикнула, что это глупость, и позвала

[18] Примечания: 18
Доса — блинчики из рисовой муки.

Кришана. Они с матерью тут же отвезли Рани в больницу, и пока Рани пришивали кончик пальца, она, как ни странно, молчала, точно не чувствовала ни боли, ни страха — лишь смутную неловкость из-за того, что доставила всем столько хлопот. Рани уверяла, что порезалась нечаянно, как бывало уже пару раз, когда она измельчала кокосы, — мол, это все из-за того, что она последнее время рассеянная и не может сосредоточиться на том, что делает. Произошедшее вскоре забылось, но сейчас, сидя в поезде, Кришан подумал, что, наверное, Рани порезалась неслучайно, как и прежде, когда измельчала кокосы, что, наверное, она намеренно причиняла себе боль, что, наверное, и увеличить интенсивность электрошоковой терапии она просила по той же причине: чтобы лишиться сознания, чтобы не было так тяжело. Он снова вспомнил о том, что узнал от дочери Рани в пятницу вечером, о том, как Рани нашли на дне колодца, и подумал: возможно, она упала туда специально, по своей воле. Последние два дня Кришан старательно отгонял эту мысль, надеясь, что она улетучится, если он не будет об этом думать, но сейчас осознал: вполне вероятно, что Рани покончила с собой, но чтобы выяснить это наверняка, ему

надо попасть на похороны и посмотреть в глаза ее дочери, поговорить с нею лично, прочесть в ее взгляде хотя бы намек на правду.

Кришан взглянул в окно, пытаясь определить, далеко ли до Вавунии, выехали они уже за пределы округа Анурадхапура или еще нет, но ни однообразная растительность вдоль путей, ни мелькавшие за нею пейзажи не подсказали ему, где он находится. Кришан знал, что резкого отличия между экосистемами юга и севера не существует и местность по обе стороны от границы выглядит почти одинаково: главным образом кустарники, порой встречаются и деревья, но иногда попадаются густые джунгли. Ему не доводилось путешествовать по Северо-Центральной провинции, и эта часть страны ассоциировалась у него с древними буддистскими храмами и развалинами, которыми он не только не интересовался, но и обходил десятой дорогой. В юности буддизм ассоциировался у него с армией и правительством Шри-Ланки, со статуями, которые оно воздвигало по всей стране, дабы напомнить обитавшим здесь мусульманам, тамилам и прочим меньшинствам, где их место, и лишь очутившись в Индии, Кришан, как ни парадоксально, принялся изучать

историю буддизма, усмотрел в нем самостоятельную религию или философию. В Дели он узнал, что угнетаемые индийские касты считают буддизм религией освобождения, что некогда на юге Индии и даже на северо-востоке Шри-Ланки жили тамилы-буддисты, и то, что большинство ланкийцев называет буддизмом, лишь одна из его разновидностей. Кришан имел на Будду ровно столько же прав, сколько большинство ланкийцев, называвших себя буддистами, осознал он, и, однажды наткнувшись в книжном в Дели на перевод «Жизни Будды», Кришан перелистал книгу, решил, что наконец пришла пора попытаться воспринять буддизм без прежних предубеждений; поддавшись порыву, купил книгу и по дороге домой начал читать. Поэма, написанная североиндийским поэтом Ашвагхошей в первом веке нашей эры, в обстоятельствах, едва ли существенно отличавшихся от ситуации на Шри-Ланке, какой ее знал Кришан, начиналась с трогательного и подробного описания рождения Будды — знакомого, однако немного отличного от тех версий, которые Кришан слышал в детстве. Юный принц Сиддхартха, говорилось в поэме, появился в утробе матери безо всякого акта зачатия и вышел наружу не через родовые пути; кожа его

сияла, как солнце, большие темные немигающие глаза притягивали взгляды окружающих, подобно луне. Вскоре после рождения Сиддхартхи его отца посетил пророк, перед которым все благоговели, осмотрел новорожденного и объявил, что младенец покорит или бескрайние миры, или собственную душу. Но чтобы покорить душу, необходимо избрать путь самоотречения, то есть отказаться от семьи, общества, жизни в целом; эта весть очень обеспокоила царя, ведь он не хотел расставаться с сыном. Зная, что увиденные боль и страдание способны увлечь юного принца на путь самоотречения, царь решил растить Сиддхартху таким образом, чтобы тот ведал лишь удовольствия этого мира, но никак не его невзгоды: царь надеялся, что тогда его сын покорит миры, а не собственную душу. Принц вырос в юношу поразительной красоты и ума, рассказывалось в поэме, царь отвел ему покои на верхних этажах дворца, где принц проводил дни и ночи с друзьями и наложницами. Женили его сравнительно рано на принцессе по имени Яшодхара, родовитой и чрезвычайно красивой, вскоре она родила ему сына, и счастливый отец Сиддхартхи решил, что теперь принц надежно привязан к мирской жизни и вряд ли откажется

от нее. Даже после рождения сына Сиддхартха по-прежнему проводил бóльшую часть времени в личных покоях, развлекаясь с женщинами, которых отец посылал веселить его. Сиддхартха слушал тихие звуки их золотистых тамбуринов, смотрел, как извиваются под музыку их гибкие тела, смеялся, по вечерам пил с ними, ночами спал с ними и долгие годы не видел причины спускаться из увенчанных облаками покоев, где он обитал.

И лишь в двадцать девять лет, согласно поэме, услышав о парках и рощах с буйной растительностью, где проводили время его наложницы, Сиддхартха задумался о том, что же находится за пределами дворца и его покоев. Жизнь, состоявшая из нескончаемых материальных и чувственных удовольствий, все больше ему прискучивала, любопытство мало-помалу обернулось тоской, и однажды принц попросил у отца позволения покинуть дворцовые владения, чего никогда не делал. Царя встревожила эта просьба, однако он все же разрешил сыну прокатиться по городу, но только с сопровождающим и по определенному маршруту, избавленному от всего, что могло огорчить принца. Король приказал украсить соседние улицы флагами и

цветами, а всех нищих, калек и больных убрать с глаз долой; наконец в условленный час Сиддхартха с доверенным возницей отправился в путь. Масса людей, особенно женщин, никогда не встречавших такого красавца, собралась вдоль дороги, чтобы хоть краем глаза взглянуть на молодого принца, Сиддхартха же, видя порядок и великолепие города, толпы благоговеющих горожан, все как один в чистых достойных нарядах, возрадовался, если верить поэме, да так, словно родился заново. Все шло в согласии с планом, как вдруг Сиддхартха заметил стоящую с края толпы седую старуху с морщинистым лицом, согбенную, с неестественно сгорбленной спиной, старуха опиралась на палку, пытаясь издалека разглядеть принца. Сиддхартха впервые увидел человека в таком состоянии и спросил у возницы, что случилось с этой женщиной. Ничего, ответил возница, просто она состарилась, а старость отнимает и красоту, и силы, лишает памяти, портит органы чувств. Встревоженный принц уточнил у возницы, может ли такое случиться с кем угодно или это удел только этой женщины. С кем угодно, ответил возница, кто проживет достаточно долго, и со мной, это уж точно; принц опечалился и вскоре попросил возницу поворотить к дворцу,

где удалился в свои покои, чтобы побыть одному. Но, не найдя умиротворения, через несколько дней решил еще раз прокатиться по городу в надежде обрести ясность. Во вторую поездку принц, однако, снова увидел зрелище, которое его удручило: немолодого мужчину с непомерно раздутым животом, понуренными плечами, тонкими и бледными руками и ногами, он шел, опираясь на спутника, и кряхтел от боли. Что случилось с этим человеком, спросил Сиддхартха возницу, и тот ответил, что мужчину поразил недуг. Его одного или это может случиться с каждым, уточнил Сиддхартха, и возница ответил: разные есть болезни, захворать может всякий, от этого не убережешься. Сиддхартха вновь замолчал. Попросил отвезти его во дворец, несколько дней пребывал в отчаянии, не выходил из покоев. Король рассвирепел, что приказы его не выполнили в точности, и, надеясь, что положительные впечатления развеют уныние принца, повелел впредь везти его другой дорогой, украсить ее пуще первой и убрать всех, чей вид может хоть сколько-нибудь удручить принца. Король попросил сына вновь отправиться прокатиться, принц согласился, но и в этот раз увидел нечто, не предназначенное для его глаз: на соседней

улице, за толпой, собравшейся в его честь, люди в траурных одеяниях несли неподвижное тело. Почему его так несут, спросил принц у возницы, и тот с неохотой ответил, что тот человек умер. Принц не знал, что такое смерть, и когда ему пояснили, что это такое состояние, в котором человек ничего не сознает и ничем не отличается от камня или бревна, не видит, не слышит, не чувствует, не говорит, принц сделался безутешен. Вид ликующих, смеющихся, улыбающихся людей, толпившихся вдоль дороги, вдруг внушил ему ужас, принц, озираясь, думал, что они или обмануты, или сошли с ума, иначе как они могут жить прежней жизнью, не тревожась о том, что однажды состарятся, заболеют и в конце концов умрут? По возвращении во дворец Сиддхартха продолжал размышлять об увиденном, не в состоянии наслаждаться тем, что прежде доставляло ему удовольствие, — ни обществом жены, ни сына, ни наложниц, ни друзей: жизнь, которую он вел, теперь представилась ему фарсом. Именно неспособность выкинуть мысли об этом из головы, говорилось в поэме, и вынудила двадцатидевятилетнего принца однажды ночью тайком покинуть дворец и отправиться в долгое, всем известное путешествие, которое в конце

концов, после шести лет скитаний, покаяния, медитации и умерщвления плоти позволило ему разорвать круг перерождений, освободило от бед и невзгод так называемого реального мира.

История о том, как Сиддхартха избавился от иллюзий, тронула Кришана до глубины души, и хотя он много раз слышал ее в детстве и юности, всерьез задумался об этом лишь сейчас, когда поезд вез его на похороны Рани: Кришана вдруг осенило, что история о крушении иллюзий Сиддхартхи очень похожа на то, что довелось пережить многим людям в конце войны. Подобно тому, как жизнь Рани и убеждения, на которых эта жизнь держалась, были уничтожены за считаные месяцы, когда погибли оба ее сына, так были уничтожены жизнь и убеждения Сиддхартхи, уверенного, что болезней, старости и смерти не существует, что человек может жить в вечной гармонии с миром. Подобно тому как Рани в конце войны получила неисцелимые травмы, так что ей снова и снова являлись образы мертвых ее сыновей, особенно младшего, — мелькали перед глазами наяву, терзали ее в кошмарах, лишая возможности вернуться к нормальной жизни, — так и Сиддхартха оказался безнадежно травмирован увиденным во время трех поездок по городу:

зрелища эти настолько противоречили всему, во что он верил, что он просто не смог вернуться к прежней жизни. Его детство и юность, согласно рассказу Ашвагхоши, разительно отличались от детства и юности большинства, поскольку обычные люди с ранних лет непрестанно сталкиваются со старостью, болезнями и смертью. Обычные люди с самого начала исподволь, понемногу узнают эти факты жизни, всегда так или иначе держат их в уме и учатся получать удовольствия, невзирая на их случайный и преходящий характер, учатся ценить маленькие радости и счастье, не задумываясь о том, что сами они не вечны. От Сиддхартхи же, напротив, систематически, намеренно скрывали, что существуют болезни, старость и смерть, он никогда не задумывался о том, что удовольствия, которым он предается, однажды исчезнут, рассеются, что самая жизнь, которую он ведет, однажды закончится. И то, что он за считаные недели неожиданно и наглядно столкнулся с этими фактами, вероятно, вызвало потрясение очень серьезное, травматическое в самом строгом, медицинском значении этого слова: чем еще объяснить, что он так внезапно решил покинуть отца, жену, сына, друзей и любовниц, так бестрепетно отказался от всего,

что составляло привычную жизнь? Чем еще объяснить годы строгой аскезы, непостижимых лишений, жестокость, с которой он обрек себя на поиски жизни, свободной от того, что он увидел во время трех поездок по городу, чем еще объяснить все это, как не патологической реакцией на глубокое потрясение, — состоянием, которое в случае с Рани (ей повезло куда меньше) лечили сеансами электрошоковой терапии, после чего у Рани постоянно тряслись руки и ноги?

Поезд замедлил ход, колеса стучали реже, Кришан заприметил хижины, домики вдоль путей, выцветшие плакаты различных тамильских политиков, налепленные на стены из рифленой стали, и понял, что они наконец-то прибыли в северную провинцию. По городу поезд ехал недолго: показался вокзал, поезд плавно затормозил, миновав табличку с надписью «ВАВУНИЯ» в начале платформы. Немногие оставшиеся пассажиры (молодая тамильская пара с ребенком, мусульманин средних лет, два солдата) встали, взяли пожитки и вышли на платформу, где не было ни души, кроме начальника станции, одного солдата и трех вооруженных полицейских. Посмотрев в противоположное окно на другую платформу, где кучка людей дожидалась по-

езд на юг, в дальнем ее конце Кришан заметил большой свеженаклеенный плакат: на левой его половине красовалось бурное море под черными тучами, готовыми разразиться дождем. С волнами боролась — того и гляди утонет — утлая рыбацкая лодчонка, посередине плаката краснела жирная надпись на тамильском: «НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ: ВЫ НИКОГДА НЕ СТУПИТЕ НА БЕРЕГ АВСТРАЛИИ». Правая, черная часть щита была густо исписана белыми буквами, Кришан сперва не понял ни слова, хотя, когда поезд рывком тронулся и вагон проехал мимо плаката, Кришан все-таки разобрал несколько строчек: там говорилось, что торговцы людьми обманом наживаются на тех, кто хочет перебраться в Австралию, что Австралия уже не принимает тех, кто пытается попасть в нее на лодках, что австралийский флот отправляет обратно в открытое море все лодки, попытавшиеся приблизиться к австралийскому берегу. Кришан слышал подобные объявления по нескольким тамильским телеканалам и радиостанциям, обычно их крутили во время рекламных пауз в прайм-тайм, поздно вечером и ночью, а вот на щите Кришан подобное объявление видел впервые и знал, что неслучайно его разместили именно в Вавунии, первой остановке

в тамильской части страны. Власти Австралии тратили на подобные объявления десятки миллионов долларов, не только в Шри-Ланке, но и в других государствах с большим количеством перемещенных лиц, в частности в том же Ираке, Афганистане и Бангладеш, надеясь обратить вспять приток людей, пытавшихся совершить долгое и опасное путешествие на лодке. Трудно сказать, был ли толк от этих объявлений, потому что большинство соглашавшихся на подобную авантюру не останавливали ни заоблачные суммы, которые приходилось платить посредникам, ни опасности путешествия длиною в тысячи миль по морю на ветхих рыбацких суденышках, ни необходимость неделями тесниться в нечеловеческих условиях с другими беженцами. Такие люди пускались в путь, отдавая себе отчет, что их шансы достичь Австралии невелики, что если даже они уцелеют, их, скорее всего, на долгие годы посадят в центр для нелегальных иммигрантов. Большинство из этих людей в войну лишились всего, и даже если их не грабили, не насиловали, не пытали и не сажали в тюрьму, они все равно навидались немыслимых зверств, и жизнь на родине сделалась для них невыносимой. Наверное, правда, что некоторые травмы до смерти не

избыть и не убежать от них, но травма, насколько знал Кришан, неизменно связана с условиями, в которых ее получили, с определенными звуками, образами, языками, временем суток, в результате чего люди зачастую не могли оставаться там, где стали свидетелями насилия. Кришан читал, что человека, попавшего в серьезную автоаварию, зачастую трудно убедить вновь сесть в машину, большинство таких людей предпочитают впредь по возможности пользоваться иными средствами транспорта, и если уж люди после аварии ведут себя подобным образом, насколько сложней убедить их оставаться там, где их бомбили, где они своими глазами видели продырявленные трупы и оторванные конечности? Даже если эти люди нигде больше не бывали и до тех пор не планировали уезжать, даже если в этих местах веками жили их предки, как убедить этих людей не рисковать жизнью, не пытаться эмигрировать в чужие страны, подальше от тех мест, где они перенесли травму, пусть они и знают, что могут погибнуть в пути, пусть они и знают в глубине души, что большинство людей в Австралии, Америке и Европе никогда не будут относиться к ним со всем уважением, как равные к равным?

Кришану всегда было немного неловко за то,

что он предпочел вернуться, тогда как масса тамилов готовы были рискнуть чем угодно, лишь бы уехать; Кришан понимал, что принял такое решение лишь потому, что ему повезло, он жил в благополучной обстановке, его не коснулись ни зверства, ни нищета, царящая на северо-востоке. Правда, отец его погиб во время теракта, совершенного в Коломбо тамильскими боевиками, и в этом смысле война, безусловно, глубоко повлияла на Кришана, но вырос-то он в комфорте, в собственном доме, вдали от боевых действий, никогда напрямую не сталкивался с насилием, не попадал ни под обстрелы, ни под бомбардировки, не был беженцем — разве что время от времени сталкивался с бытовым расизмом, угрожающими уличными допросами полицейских и солдат. Не будь он так защищен от травм войны, ему, пожалуй, и в голову не пришло бы отправиться на северо-восток в качестве соцработника, и то, что два года спустя он оттуда уехал, лишь доказывало, насколько его жизнь отличается от жизни обитателей северо-востока, тех, кто не мог уезжать и приезжать туда, когда вздумается. Кришан смотрел на мелькавшие за окном окраинные пейзажи, на очертания деревьев вдали, искаженные знойным маревом, и, чувствуя лег-

кое беспокойство, достал телефон и посмотрел, сколько времени. До Килиноччи оставалось меньше часа, а Кришан не знал, чем себя занять: ни читать, ни слушать музыку не хотелось. Сидеть тоже надоело, он и так уже несколько часов просидел на месте, его потянуло встать, Кришан вдруг вспомнил, что сегодня еще не курил, и решил, что, раз он уже на севере, неплохо бы выйти в тамбур и покурить. Он достал из рюкзака зажигалку, пачку сигарет, быстро оглянулся, не идет ли кто по вагону, поднялся, прошел по вагону, держась за спинки сидений, и вышел в тамбур. Выждал чуть-чуть, чтобы убедиться, что он один, отвернулся к стене, зажег сигарету, открыл дверь, закрепил ее и выглянул наружу; в лицо ему тотчас ударил сухой горячий ветер, в глаза — ослепительный, неестественно яркий свет солнца.

Параллельно железной дороге, то приближаясь едва ли не к самым рельсам, то чуть удаляясь от них, шла автомагистраль A9, над ее ровным черным асфальтом дрожало знойное марево. Впрочем, назвать ее «автомагистралью» можно было только с натяжкой — всего одна полоса движения в каждом из направлений, но поскольку она была главной дорогой, связывавшей север и

юг, все пережившие войну придавали ей огромное значение. Едва ли не на всем протяжении боевых действий южную часть автомагистрали контролировали правительственные войска, северную — «Тигры», и те и другие возвели надежные укрепления со своей стороны границы, соорудили множество блокпостов, так что без малого четверть века по автомагистрали, как и по железной дороге, никто не ездил. В 2009 году, через несколько месяцев после поражения «Тигров», автомагистраль наконец открыли, военные быстро заделали воронки, оставшиеся от снарядов, разминировали прилегающие территории, положили новый асфальт: теперь дорогой могли пользоваться гражданские, хотя солдаты еще долгое время проверяли каждое транспортное средство, пересекавшее границу, а если пассажиры были тамилами, то военные тщательно обыскивали весь багаж и все отделения автомобиля. Железную дорогу восстанавливали намного дольше, и не только потому, что все станции в северной ее части были разрушены в результате бомбардировок, но и потому, что «Тигры» со свойственной им педантичностью сняли все рельсы, болты и гайки: эта сталь пошла на оружие, бункеры и прочие их потребности. Властям

понадобилось несколько лет, чтобы протянуть новые рельсы, в прошлом году железную дорогу с великой помпой открыли, власти воспользовались этой оказией, чтобы показать, что отныне весь остров снова под их контролем и открытие железной дороги — доказательство их успехов по освобождению страны. Было это в 2014-м, Кришан тогда дорабатывал на северо-востоке последние месяцы и уже настолько привык ездить автобусом, что воспользоваться поездом ему в голову не пришло, и, глядя сейчас на автомагистраль с несколько иной, непривычной наблюдательной позиции, Кришан поймал себя на том, что вспоминает все свои поездки между Коломбо и Джаффной с тех пор, как вернулся на остров, и острую тоску, которую ощущал особенно в первые месяцы, когда смотрел в окно автобуса на эти же самые нескончаемые пейзажи — кусты, пальмировые пальмы, пейзажи плоские, сухие и беспощадно унылые, и порою казалось чудом, что поколения местных жителей кормились с этой земли.

Трудно сказать, чем так привлек его северо-восток после долгих лет жизни за границей, что́ именно пустило столь глубокие корни в его душе, из-за чего он оставил ту жизнь, которую

выстроил для себя в Дели, в поисках иной жизни здесь. Отчасти причиной тому было чувство вины за сравнительно беззаботное детство и юность, вины за то, что с двадцати до тридцати лет он бóльшую часть времени копался в научных текстах, но все-таки в скудной, пустынной красоте здешних мест таилось нечто такое, что манило его сюда, думал Кришан, глядя в окно поезда, нечто существеннее и сильнее чувства вины. В Дели он часами рассматривал фотографии сельской местности северо-востока Шри-Ланки, и не в пору начальной своей одержимости ужасами последних лет войны, а позже; от снимков этих бескрайних полей и густых джунглей веяло древностью и легендами, чем-то таким, из-за чего Кришан мечтал о новых свершениях, хоть и не знал еще, каких именно и на каком поприще. Потребность лучше понять причину войны, постичь природу желаний, приведших к столь разрушительному результату, побудила его читать о первой, более идеалистической поре сепаратистского движения; в ту пору, вспомнил Кришан, его буквально заворожила история Кут-

тимани[19], укрепила пробуждавшееся желание жить на северо-востоке. Кришан с детства слышал о Куттимани, о его роли в начальном этапе сепаратистской борьбы, о том, как его судили, посадили в тюрьму и в конечном счете убили, но только в Дели начал активно интересоваться жизнью одного из первых повстанцев, обстоятельствами, в которых он вырос, расположением духа, в котором он жил. Кришану так и не удалось отыскать ни самые основные сведения о биографии Куттимани, ни даже дату и место его рождения; единственной информацией, представлявшей хоть какую-то ценность, оказались отсканированные газетные снимки, сделанные в основном во время суда и сразу после него. Кришан ясно запомнил два из тех снимков (оба — черно-белые, зернистые, нерезкие): на первом запечатлели Куттимани в зале суда, скорее всего вскоре после вынесения приговора, гладковыбритый, нарядный — белая рубашка, саронг, — руки в наручниках вскинуты над головою в победном жесте, несмотря на то, что вокруг полицейские и его только что приговорили к смерти. На втором

[19] Примечания: 19

Сельвараджа Йогачандран (прозванный Куттимани, ум. 1983) — один из лидеров тамильской боевой «Организации освобождения Тамил-Илама».

Куттимани после заседания выходил из зала суда, вытянув перед собой руки в наручниках и скривив красивые губы в улыбке; Куттимани, щурясь от солнца, смотрел в объектив, рядом с ним шел его товарищ, Тангатурай[20], усатый, худее и выше ростом, он тоже смотрел в объектив, хотя и не столь торжествующе. На обоих снимках Куттимани выглядел бодро и явно владел собой, излучал спокойную, непринужденную уверенность, но Кришан понимал, что такое самообладание, скорее всего, стоило Куттимани больших усилий, потому что в газетной статье с фотографией был длинный перечень пыток, которым полиция подвергла Куттимани, Тангатурая и третьего, Джегана, их пособника в ограблении — в этом перечне, помимо прочего, фигурировало избиение раздетых догола пленников дубинками и прикладами, их заставляли вдыхать пары горящего перца чили, засовывали им в задний проход железные прутья, а в уретру — колючую проволоку. Так что Куттимани, скорее всего, лишь после долгой душевной борьбы нашел в себе мужество держаться с достоинством на суде, излагать свои

[20] Примечания: 20

Надараджа Тангавелу (прозванный Тангатурай, ум. 1983) — тамильский повстанец, один из основателей боевой «Организации освобождения Тамил-Илама».

доводы и произнести знаменитое последнее слово, которое на следующий день опубликовали на первых страницах всех основных газет и которое всколыхнуло страну от севера и до юга.

Преступление, за которое Куттимани арестовали — ограбление отделения Народного банка в Джаффне в марте 1981 года на восемь миллионов рупий — стало не первым на его счету. В 1969 году — Куттимани тогда, наверное, было лет двадцать с небольшим — они с Тангатураем собрали небольшой отряд повстанцев, впоследствии превратившийся в «Организацию освобождения Тамил-Илама», ООТИ, вооруженное сепаратистское формирование, которое финансировало свою деятельность с помощью контрабанды и грабежей учреждений государственных или связанных с государством. В 1973 году его арестовала индийская полиция, когда он прятался в штате Тамилнад, и депортировала по запросу ланкийских властей; на родине его без суда посадили в тюрьму и отпустили только в 1977-м, под давлением иностранных держав. Куттимани вернулся к повстанческой деятельности, организовывал все более дерзкие нападения и ограбления, в 1981-м ограбил отделение Народного банка в Джаффне, после чего власти открыли на Куттима-

ни охоту. Уже через две недели военные моряки схватили его у побережья Джаффны: Куттимани с Тангатураем пытались на моторке бежать в Тамилнад, где Куттимани надеялся переждать, пока все не уляжется. За процессом, проходившим через год с лишним в Верховном суде в Коломбо в присутствии множества журналистов и простых любопытных, пристально следила вся страна. Куттимани предъявили обвинение в убийстве — очевидно, в ходе ограбления погибли люди, — и приговорили к смертной казни, несомненно, в назидание прочим сепаратистам. Судья спросил, не желает ли подсудимый попросить о чем-то или выступить с последним словом, и Куттимани, говорилось в статье, в ответ заявил, что ни к каким преступлениям не причастен. Он ни в чем не виноват, полицейские арестовали его, многие месяцы подвергали невыносимым пыткам и вынудили оговорить себя. Приговор суда, продолжал Куттимани, вряд ли кого удививший, лишь ускорит рост сепаратистского движения на северо-востоке страны, даст новую, более вескую причину для образования государства Тамил-Илам. Тамильскую молодежь все чаще и чаще будут арестовывать по ложным обвинениям, следовательно, освободительное движение на

северо-востоке будет крепнуть. В заключение своей речи Куттимани попросил повесить его не в Коломбо, где проходил процесс, а в его родной деревушке в Джаффне, и пожертвовать его жизненно важные органы тем тамилам, которые в них нуждаются, — в частности, отдать его глаза какому-нибудь слепому тамильскому мальчику или девочке: если уж Куттимани не суждено увидеть Тамил-Илам, то пусть хоть его глаза однажды это увидят.

Читая о том, как Куттимани поймали на моторке — во время войны повстанцы перевозили на таких лодках оружие, деньги и пассажиров меж северо-восточным побережьем Шри-Ланки и южным берегом Индии, — Кришан вспомнил еще одну фотографию, которую нашел в интернете, цветной снимок без даты, сделанный на северо-восточном побережье, но много позже, наверное, в девяностые. На переднем плане на берегу у воды стоят двое «Тигров», оба босые, в коротких шортах, открывающих почти все бедра; тот, что слева, худее и ниже, в мешковатой рубахе на пуговицах, тот, что справа, крупнее и выше, в камуфляжной футболке. У обоих в руках АК-47, у того, что справа, на левом плече висит магазин с патронами, оба «Тигра» пристально смотрят на

золотистую гладь моря, простирающуюся у их ног. Футах в тридцати-сорока от берега замерла небольшая моторка с расплывчатыми силуэтами трех-четырех мужчин, еще четверо по колено в воде бредут к берегу, они явно только что выпрыгнули из моторки. Скорее всего, все эти люди вернулись из Тамилнада, куда ездили на курсы боевой подготовки или за оружием, которое и привезли контрабандой на остров. Вооруженных мужчин, что стоят босиком у кромки прибоя, вероятно, отправили сюда встречать их, хотя эту двоицу явно не интересует ни моторка, ни те, кто из нее высадился: видимо, им не впервой встречать и провожать лодки. Казалось, они смотрят на северо-запад за бескрайним простором недвижного моря, на ту линию вдалеке, где край безмолвной яркой воды становится неотличим от яркого безоблачного горизонта, на место столь отдаленное от их пятачка берега, что находиться оно должно на побережье Индии или рядом с ним. Глядя на это сопряжение моря и горизонта, Кришан невольно воображал, что Куттимани арестовали по пути в Тамилнад, а может, его и поймали-то лишь потому, что он отвлекся, засмотрелся на эту далекую точку. Когда перед твоим взором расстилается такой простор,

невольно чувствуешь удовлетворение и свободу, как и тогда, когда стоишь под открытым небом, взгляд твой не упирается ни в стены, ни в крыши и можно без ограничения охватить им и землю, и море. Кришан не мог отделаться от ощущения, что по этой самой причине Куттимани и попросил отдать его глаза слепому ребенку, чтобы они и впредь видели горизонт, чтобы искали за бескрайним простором землю, принадлежавшую им, и возможности, которые она вмещает. Та свобода, которой желал Куттимани, свобода, к которой, пожалуй, стремились все повстанческие движения, заключалась не только в праве перемещаться по земле, где жили твои предки, не только в праве выбирать и распоряжаться своей жизнью, но и в возможности видеть горизонт, когда чувствуешь, что тебе доступны миры, мерцающие за его краем. Лишь когда всматриваешься в горизонт, твой взгляд огибает любые препятствия, ограничивающие обзор нынешними обстоятельствами, устремляется в иные времена и пространства: может, свобода и есть не более чем способность цилиарных мышц[21] каждого глаза — идеально отрегулированных

[21] Примечания: 21
Внутренние парные мышцы глаза, обеспечивающие аккомодацию.

мышц, которые сокращаются, фокусируя взгляд на объектах вблизи, и расслабляются, фокусируя его на объектах вдали, — не более чем способность этих мышц произвольно смягчаться и расслабляться, так что предметы, находящиеся на расстоянии, вдалеке от наблюдателя, каким-то образом представляются нам близкими.

Приговоренного к смертной казни Куттимани перевели в Великаду, тюрьму строгого режима, ее построили в Коломбо британцы в 1841 году, и даже через семьдесят лет после их ухода она считалась самой крупной тюрьмой в Шри-Ланке. Внутри тюрьмы Кришан никогда не был, но много раз проходил по Бейслайн-роуд мимо ее внушительного фасада, на высокой белой стене вверху красовался герб Управления тюрем, под ним тянулся видавший виды медный барельеф с изображением разных этапов исправления преступников. В начале барельефа, с левого его края, люди совершали преступления (убийства, кражи), далее, раскаявшиеся и удрученные, представали перед судом в строгих залах, затем эти же люди, уже заключенные, занимались различным ручным трудом — красили, укладывали кирпичи, рыли землю, — и в завершении барельефа, образумившиеся и счастливые, под

бдительным, но добродушным взглядом охраны выходили на волю. Барельеф вкупе с крупной надписью под ним «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ — ТОЖЕ ЛЮДИ» создавал впечатление, будто Великада гуманное, прогрессивное учреждение, однако Кришан всегда подозревал, что впечатление это ложное, и окончательно уверился в этом, когда узнал больше о жестоких убийствах заключенных-тамилов в июле 1983 года. Правительство утверждало, что эти убийства были следствием бунта заключенных-сингальцев, а тот, в свою очередь, стал частью масштабного тамильского погрома, случившегося в Коломбо при попустительстве властей; было разгромлено восемь тысяч тамильских домов, пять тысяч тамильских магазинов, а число человеческих жертв, по некоторым оценкам, доходило до трех тысяч. Убийства в тюрьме пришлись на два дня в самый разгар погрома, на двадцать пятое и двадцать седьмое июля, и, как говорилось в книге, которую Кришан читал в надежде узнать больше о смерти Куттимани, были явно спланированы и отнюдь не случайны. Погибли пятьдесят три тамила, все — политзаключенные, и версия правительства (узники-сингальцы якобы вышли из-под контроля), по утверждению авторов книги, была

заведомой ложью. Во время бунта не пострадал ни один из охранников, а ведь если бы они попытались остановить сингальцев, это непременно случилось бы. Вооруженные военные, размещавшиеся на территории тюрьмы, не предприняли никаких попыток остановить убийства — видимо, по приказу сверху, — а когда все закончилось, эти же самые военные не позволяли отвезти в больницу тех тамилов, которые еще дышали, и в конце концов они скончались от ран. Противоречивые показания тюремных охранников и властей, заявляли авторы книги, лишь доказывали, что убийства имели политическую подоплеку и были санкционированы на высшем уровне.

Куттимани, по всей вероятности, сидел в корпусе, который за крестообразную форму британцы прозвали «Часовней»: каждый этаж состоял из четырех прямоугольных отсеков, на нижнем был еще большой вестибюль. Семьдесят четыре тамила, политические заключенные, размещались в трех частях на нижнем этаже, в четвертой же части нижнего этажа и на оставшихся трех содержали сингальцев, осужденных за насильственные преступления — убийства, изнасилования и прочие. Куттимани, Тангатурай и Джеган сидели в камере восемь на восемь, сообщали авторы

книги; вероятно, в этой камере Куттимани пробыл бóльшую часть тех шестнадцати месяцев, что провел в тюрьме. Прочитав об этом, Кришан невольно задался вопросом, как Куттимани и два его товарища проводили время в заключении, все эти долгие дни и ночи до безвременной гибели. Быть может, они обсуждали новости, связанные с войной, те обрывочные сведения, которые узнавали от охранников, быть может, они говорили и спорили о движении сепаратистов, о политической ситуации, и не только друг с другом, но и с остальными узниками-тамилами — в столовой ли, на прогулке, — большинство из них тоже принадлежали к сепаратистским вооруженным формированиям и политическим партиям. ООТИ не признавала никаких идеологий, не имела ни планов, ни предложений относительно того, при каком именно государственном строе будет жить население северо-востока после победы в борьбе за свободу. Их первым и единственным требованием было государство для тамилов, а обо всем остальном можно подумать после, когда такое государство появится, ни к чему раньше времени отвлекаться на эти вопросы. Прочие

группы сепаратистов, те же РОСИ и НООТИ[22], придерживались определенной идеологии, как правило марксизма или социализма, выступали против империалистов и твердо знали, каким должно быть тамильское государство как с политической, так и общественной точки зрения. Появление «Тигров освобождения Тамил-Илама» не оставило камня на камне от этих отвлеченных интеллектуальных спекуляций: ТОТИ уничтожили или подмяли под себя все прочие вооруженные формирования, и не из-за идеологических различий — ТОТИ, как и ООТИ, считали, что идеология лишь отвлекает от главного, — а просто чтобы укрепить свое положение самой могущественной сепаратистской группировки на севере. Вряд ли заключенные день-деньской беседовали о политике, да и их сведения о происходящем за пределами тюрьмы были ограниченными, вот Кришан и гадал, чем Куттимани занимался в камере — быть может, читал, писал, делал зарядку, — и было ли в его камере окошко, сквозь которое видно небо. Кришану нравилось представлять, как Куттимани смотрит

[22] Примечания: 22

РОСИ — Революционная организация студентов Илама. НООТИ — Народная организация освобождения Тамил-Илама. Та и другая — бывшие военизированные группировки в Шри-Ланке.

в окно, нравилось представлять, как он часами глядит в пространство, пусть даже в камере нет окна, пусть даже в ней нет света, ведь Кришан знал, что бескрайние просторы и бесконечные дороги до самого горизонта можно увидеть во сне и, проснувшись, почувствовать себя так, будто провел несколько часов во внешнем мире, а не с закрытыми глазами в тесной камере.

Неизвестно, что именно случилось в тот день, когда Куттимани убили, но, если верить книге, бунт начался двадцать пятого июля в два часа пополудни, без малого четыреста заключенных-сингальцев вырвались из камер, наверняка с помощью охраны. Заключенные собрались в вестибюле нижнего этажа, раздобыли ключи от камер тамилов, попытались вломиться в три отделения нижнего этажа, где сидели тамилы. Один из охранников-сингальцев, лояльный к заключенным-тамилам, содержавшимся в порученном ему отделении, по всей видимости, заявил бунтовщикам, что войдут они только через его труп; толпа не тронула благородного охранника и устремилась в остальные два отделения, куда охрана их беспрепятственно допустила. Неорганизованная толпа не сразу выяснила, какой ключ от какой камеры, и узники-тамилы успели

подготовиться, чтобы дать отпор нападавшим. Но сингальцы намного превосходили их числом, вдобавок у них было оружие, которым, утверждали авторы книги, их могли снабдить только охранники. Сингальцы обходили камеру за камерой, сбивали заключенных с ног, избивали, многие были убиты, остальные получили серьезные ранения. Погромщики, несомненно, знали, кто такой Куттимани — наверняка по тюрьме ходили слухи о том, что он сказал на суде, — потому что, войдя в камеру, которую он делил с Тангатураем и Джеганом, нападавшие убили его не сразу. Сообщалось, что всех троих повалили на пол, после чего Куттимани подняли и поставили на колени, и один из бунтовщиков каким-то орудием — скорее всего, ножом, а может, даже ключом — выколол ему глаза. Должно быть, пришлось повозиться, думал Кришан, наверняка все это происходило медленно и неловко, и каждый из глаз в процессе терял свою хрупкую целостность, выходил по частям, не сразу, а выколов Куттимани оба глаза, нападавший, скорее всего, раздавил их пальцами или растоптал: вряд ли бунтовщики оставили их лежать на полу.

Кришан высунулся из двери, в лицо ему бил сухой знойный ветер, внизу тяжело стучали колеса,

и он вдруг с необычайной ясностью увидел, как Куттимани стоит на коленях в грязной тюремной камере, а там, где были глаза, зияют две темные раны. Как ни странно, порой то, чего никогда не видел, встает перед мысленным взором живее, чем пережитое, и сейчас, когда Кришан глядел на проносящийся мимо плоский иссохший пейзаж, вдалеке по краям мерцавший, подобно миражу, тот же самый пейзаж, который, несомненно, не раз представлял себе Куттимани в тюремной камере, — сейчас Кришану вдруг показалось, будто на то, что он видит, наложилось не только то, что видел Куттимани, но и то, что некогда видели многие обитатели северо-востока, чьи желания и опыт хранились в сознании Кришана, точно в архиве, — или просто пригрезились ему. Кришана охватило странное ощущение, будто образы, которые он видит, производит не только свет, попадающий ему в глаза, а все изображения, которые ассоциируются у него с северо-востоком: и непосредственные воспоминания о детских поездках туда, и те два года, что он прожил там уже взрослым, и опосредованные образы с фотографий, увиденных им в книгах, газетах, в Сети, образы, которые он воссоздал в уме из всего услышанного и прочитанного, идиллические

картины сельской жизни, страшные картины войны, картины той жизни, которую вел бы и он, сложись все немного иначе, смутные следы этих бесчисленных образов ныне проецировались на то, на что в эту минуту смотрели его глаза, пока поезд мчался на север. На переднем плане он видел купы пролетающих мимо голых кустов, на заднем сливался с безоблачным небом раскаленный добела горизонт; Кришан чувствовал, как вибрирует под подошвами тонкий железный пол, как раздувает ветер рубашку, но, прислонившись к двери поезда и зная, что вскоре он прибудет в Килиноччи, а там и в деревню Рани, и попадет на похороны человека, со смертью которого пока что не мог смириться, невольно думал — а поезд тем временем несся к цели, — что в тот день он преодолел не столько пространство физическое, сколько бескрайнее пространство своей души, проделал путь не с юга острова на его север, а с юга своего сознания в его дальние северные пределы.

АНУК АРУДПРАГАСАМ

Сожжение

8

Шел пятый час дня, свет стал мягче, рассеяннее, жара понемногу спадала, Кришан стоял один в углу сада, наблюдал за собравшимися на похороны Рани людьми и чувствовал легкое волнение, связанное с тем, что после долгого созерцательного путешествия он вдруг очутился в месте, столь отличном от того, откуда он прибыл: увиденное здесь захватило его врасплох, хотя именно так он и представлял себе деревню Рани. Ощущение мирной, спокойной сдержанности, владевшее им в поезде, не оставило его и в двух тихих автобусах из Килиноччи, сопровождало его во время долгого пути от автобусной остановки, когда он брел по лабиринту тропинок сквозь казавшуюся безлюдной деревню. Участки по обе стороны от дороги были ограничены низкими изгородями из сухих пальмовых ветвей, скрепленных проволокой и веревкой, за большинством изгородей виднелись ухоженные сады с деревьями и грядками овощей: были здесь и моринги, и бананы, и кокосы, и мурайи, и другие растения, которых Кришан не знал. Дома все были простые, без отделки: те, что побольше, бетонные, состояли

из кухни и одной-двух комнат, те, что поменьше, глинобитные, с тростниковыми крышами — из одного-единственного помещения на все случаи жизни. Кришан не спеша рассматривал все, мимо чего проходил, точно и приехал именно для того, чтобы выяснить, как повлияет увиденное на направление его мыслей, и только свернув в проулок к дому Рани, только заслышав доносящийся издали неровный, глухой стук траурных барабанов, Кришан вдруг понял, что путешествие его окончено, он прибыл в место назначения. И тут же задался вопросом, как себя вести, что сказать при встрече дочери Рани, как отдать ей бабкины деньги, не привлекая внимания; у него был весь день, чтобы это решить, но он старался не думать об этом. Приблизившись к дому, он увидел сперва четырех барабанщиков: они стояли наособицу во дворе возле пальмовой изгороди и, не сводя друг с друга пристальных взглядов, били в висевшие у них на шее небольшие плоские барабаны изящной работы; Кришан знал, что барабанщики принадлежат к одной из самых презираемых каст северо-востока. Позади них в саду уже собралась толпа — человек двести-триста, большинство явно жители деревни: вот почему Кришану по пути от автобусной остановки не встретилось

ни души. У одних вид был унылый, печальный, у других откровенно скучливый, но почти все негромко переговаривались, точно, пользуясь случаем, решили обсудить вопросы, занимавшие их мысли; женщины были в сари — белых, серых, черных, неброских оттенков, — мужчины почти все в рубахах и торжественных белых саронгах. Завидев у изгороди Кришана, барабанщики застучали громче, быстрее, и он со смущением осознал, что они таким образом объявляют о его приходе. Кришан прошел по саду, стараясь не обращать внимания на устремленные к нему любопытные взгляды; наверняка собравшиеся поняли, что он не из их деревни, а большинство по его одежде — темно-синей рубашке без ворота и брюкам — догадались, что он вообще не из их округи. Дом походил на те дома, что побольше, попадавшиеся Кришану на глаза во время его недолгого пути по деревне: бетонные белые стены, шиферная, не черепичная, крыша, ровные красные бетонные полы; Кришан поднялся на две ступеньки крыльца и очутился на веранде — здесь люди стояли теснее, на него никто не смотрел, он снял сандалии, оставил их у двери рядом с обувью прочих собравшихся и переступил порог комнаты.

В центре комнаты на чем-то вроде кровати или низкого столика стоял открытый деревянный гроб, снаружи отделанный пластиком, его окружали скорбящие, главным образом женщины: одни смотрели в гроб, стонали или плакали, другие негромко читали гимны в брошюрках — скорее всего, «Шивапуранам». Чуть поодаль на полу у стены восседал священнослужитель, перед ним на банановых листьях лежали фрукты, кокосы, стояли масляные плошки и прочее, напротив него, скрестив ноги, сидел мускулистый широкоплечий мужчина лет тридцати, в белом саронге, голую грудь его наискось пересекал белый шнур. Он был главным на похоронах, следовательно, догадался Кришан, это зять Рани, муж ее дочери, поскольку, если у усопшей нет сыновей, главную роль, как правило, отводят зятю. Кришан поискал глазами дочь Рани и вскоре заметил женщину лет двадцати пяти — тридцати, на которую были устремлены взгляды еще нескольких человек, она стояла в изголовье гроба, ее поддерживали под руки две старухи, точно боялись, что она лишится чувств. Женщина была смуглая, как Рани, но на первый взгляд не очень на нее похожа: не такая дородная, лицо круглее, черты мягче. Она не плакала, скорее тяжко вздыхала, взгляд ее

блуждал, словно ей было плохо видно, за юбку ее цеплялись с потерянным видом две девочки, единственные дети в комнате, внучки Рани, догадался Кришан, а женщина, значит, точно ее дочь. Кришан не знал, как к ней подойти, медлил у порога, гадая, что ей сказать, и смотрел на дочь Рани, пока одна из старух не заметила его и не поманила к себе. Он подошел, представился и перевел взгляд со старухи на дочь Рани, стараясь казаться ниже ростом и силясь придать лицу скорбное выражение. Этого мгновения он опасался больше всего, с тех самых пор, как позавчера узнал о смерти Рани — мгновения, когда придется встретиться лицом к лицу с родственниками Рани, увидеть их осуждающие взгляды, — но дочь Рани, услышав, кто он, лишь улыбнулась печально и поздоровалась с ним, голос у нее был жалобный, тихий, совсем не такой, как по телефону. Значит, вам все-таки это удалось, сказала она, глядя ему в глаза, вам удалось найти наш дом. Я рада, что вы смогли приехать. И, повернувшись к старухам, объяснила, кто он такой, сказала, что это у него в доме ее мать жила в Коломбо, это за его бабушкой она ухаживала. Кришан с неуверенной улыбкой смотрел на женщин, ища в их взглядах тень возмущения или признак

того, что если не дочь Рани, так они винят его в случившемся, но женщины смотрели на него с пониманием и теплом, словно он никакой не злодей, а просто один из скорбящих.

Старуха сделала Кришану знак подойти к гробу, на который он до этой минуты старался не смотреть; Кришан приблизился и не без робости взглянул на Рани: первым делом он заметил два пышных цветочных венка у нее на груди и ее белое сари, неотличимое по цвету от белого атласа, которым гроб был обит изнутри. Бледные, почти белые ее руки покоились на животе, бледные голые ступни соприкасались: большие пальцы ног были связаны нитью. Отметив эти детали, Кришан позволил себе подойти ближе и наконец устремил взгляд в изголовье гроба, на лицо Рани, аккуратно уложенные волосы, закрытые глаза, чуть поджатые губы; лицо, как руки и ступни, тоже было непривычно бледным — Кришан разглядел, что оно густо напудрено тальком. На лице Рани застыло безучастное выражение — точнее, оно было непроницаемо, в противоположность скорбным минам собравшихся; Кришан навытяжку стоял у гроба и не знал, что делать и ощущать. Он растрогался, но ему не было грустно, слезы не подступали к глазам, он

чувствовал лишь отчужденность, пусть мягче и тише, чем позавчера, когда услышал о смерти Рани. Теперь-то он помнил, кто такая Рани, какою она была, теперь он помнил ее привычки, ее хриплый ласковый голос, помнил печаль и тоску — ее неизменных спутниц, — но ему никак не удавалось совместить тот образ Рани, который остался у него в памяти, с телом, лежащим в гробу: казалось, все это принадлежит кому-то другому, незнакомому — и призрачно-бледные руки, ноги и лицо, и непривычное белое сари, и неловкая строгая поза. Позади него заплакала женщина, Кришан обернулся и увидел, что в комнату вошла пожилая пара. Женщина взяла дочь Рани за руки, потом отстранилась и принялась бить себя по щекам, я не верю, что ее больше нет, восклицала женщина, сперва сыновья, потом муж, теперь вот и Рани. Женщина твердила эти слова ритмично, без перерыва, отошла от дочери Рани, приблизилась к гробу и запричитала громче, так что одна из женщин, тоже стоявших у гроба, разрыдалась в голос.

Кришан наблюдал за происходящим, дивясь силе чувств этой женщины, особенно по сравнению со сдержанностью дочери Рани, и наконец рассудил, что это, должно быть, близкая род-

ственница или задушевная подруга усопшей. Он обернулся к дочери Рани, заметил, что никто на нее не смотрит и, улучив мгновение, достал из кармана рубашки конверт, который вручила ему бабка, подошел, наклонился и едва ли не шепотом произнес: аппамма просила передать, чтобы помочь с оплатой похорон. Дочь Рани, казалось, удивилась, хотя накануне мать Кришана говорила ей о деньгах, но потом взяла конверт, кивком поблагодарила, отвернулась на миг, потом снова посмотрела на Кришана и, помявшись, проговорила: «Моя мать очень сблизилась с вашей бабушкой. Ей нравилось в Коломбо, и когда она приезжала нас навестить, всегда много рассказывала о вас. Я понятия не имею, почему она решила уехать, я ей твердила, что нужно вернуться, да и врач говорил, так будет лучше, но она упрямо решила остаться с нами. Не хотела ехать в Коломбо и снова ложиться в больницу тоже не пожелала. Она говорила, что хочет лишь одного: остаться дома с внучками, чтобы видеть, как они растут. Мама очень любила моих дочерей, даже больше, чем своего младшего сына, и я рада, что ей удалось хоть немного с ними побыть, прежде чем она покинула нас». На этом дочь Рани примолкла, размышляя о том, что сказала, в манере,

свойственной всем понесшим утрату, когда они общаются с другими людьми: на первый взгляд они участвуют в беседе, на деле же разговаривают сами с собой. Кришан кивнул, выдавил улыбку, покосился на девочек, они стояли рядом со священником и своим отцом и поглядывали на них с недоумением и любопытством. Кришан не знал, что ответить, и медлил, ожидая, что дочь Рани скажет что-то еще, но она улыбнулась, давая понять, что разговор окончен, развернулась и вышла в соседнюю комнату спрятать конверт. Кришан выждал еще немного, надеясь, что удастся побеседовать с ней, когда она придет обратно, но едва дочь Рани вернулась, как в комнату вошла еще одна семья и принялась выражать соболезнования. Не видя причин оставаться в доме, Кришан напоследок взглянул на гроб, прикоснулся к его изножью, украдкой спустился в сад, поискал глазами свободное место, где можно встать, чтобы, не привлекая к себе внимания, наблюдать за церемонией и размышлять об увиденном и услышанном.

До этой минуты он верил, что, если приедет на похороны, обязательно узнает правду, что, вглядевшись в лицо дочери, поймет, как умерла ее мать, но, встретившись с дочерью Рани,

понял, что надежде его не сбыться, и не только потому, что из-за нескончаемого потока людей, желающих выразить соболезнования, никак не удавалось с нею поговорить. Он почему-то рассчитывал получить убедительное подтверждение или опровержение своих подозрений, но едва дочь Рани заговорила с ним, как он понял, что однозначный вердикт невозможен и даже если он дождется окончания похорон, чтобы поговорить с ней, напрямую о самоубийстве не будет сказано ни слова и ему все равно ничего не останется, как истолковывать на свой лад то, что ему сообщат. Впрочем, его успокоило, что она встретила его с искренней теплотой, так отличавшейся от сухого механического тона, каким она разговаривала по телефону, успокоили его и слова дочери Рани о том, как ее мать относилась к аппамме: это значило, что страхи его беспочвенны и их совместная с бабкой жизнь в Коломбо не тяготила Рани, уехала она не потому, что ей было противно у них оставаться, а по другим, более веским причинам. Рани сказала, что хочет проводить время с внучками, так оно, несомненно, и было, но рассказ ее дочери внушил Кришану ощущение, что Рани уехала из Коломбо, скорее, потому что больше всего ей хотелось сбежать от

собственных мыслей и психического нездоровья, что она уехала потому же, почему многие страдающие от хронической депрессии переезжают с места на место или то уезжают, то возвращаются — в надежде, что от перемены обстановки им станет лучше, хотя, по сути, куда бы они ни поехали, их неизбежно сопровождают мысли, точно невидимые передвижные тюрьмы, в которых они заперты. Еще Кришана тронуло ощутимое сожаление в голосе дочери Рани, словно решение покинуть Коломбо и перестать лечиться привело к ухудшению состояния ее матери, а может, и к ее кончине, словно депрессия ее матери и ее гибель связаны неким существенным образом. Главным образом из-за этого Кришан и подумал: быть может, его подозрения, что Рани покончила с собой, справедливы, но, вполне вероятно, он придает слишком большое значение тону дочери Рани, поскольку скорбящие порой с сожалением говорят о смерти тех, кого они потеряли, будто верят, что этого не случилось бы, если бы не какая-нибудь мелочь, будто верят, что можно было бы избежать не только этой конкретной кончины, но и смерти как таковой. Дочь Рани казалась искренней, беззащитной — поведение, несовместимое с вероятностью, что Рани

совершила самоубийство, ведь если бы ее дочь действительно считала или хотя бы подозревала, что мать покончила с собой, она держалась бы куда более настороженно, подумал Кришан, не говорила бы так свободно о матери, и не только из-за стыда, но и из-за опаски, что люди догадаются о случившемся. Даже если и были четкие признаки того, что Рани свела счеты с жизнью, ее дочь о них явно не знала — то ли потому, что не замечала, то ли, что вероятнее, если таковые признаки существовали, она намеренно закрывала на них глаза. Да и смысл дознаваться, в конце концов, не покончила ли мать с собой, разве только тому были бы неопровержимые доказательства, а коль скоро их нет, так, наверное, проще решить, что это несчастный случай, и точка. В некотором смысле Кришан и сам был рад остановиться на этом, осознать, что большего ему выяснить не удастся, да тем и ограничиться, ведь, по всей вероятности, Рани все-таки не сводила счеты с жизнью. Но даже если это самоубийство (что вряд ли), подумал Кришан, то, если верить сказанному дочерью Рани, ни его самого, ни его родных в этом никто не винит, напротив, они, как могли, старались помочь, и то, что Рани сотворила с собой — если, конечно, она с собой

что-то сотворила, — стало следствием действия неких подспудных сил в ее душе, сил, никак не связанных с семьей Кришана.

Он поднял глаза и заметил, что народу в саду прибавилось и неслабеющий гул голосов стал громче. Подходили все новые и новые люди, здоровались со знакомыми по пути в дом, казалось, здесь все друг друга знают, в некотором смысле это основная примета деревенской жизни: никакой анонимности, все знакомы, даже если не дружат. Войдя в дом, новоприбывшие направлялись к дочери Рани, выражали соболезнования, женщины разражались театральными рыданиями и, взяв дочь Рани за руки, принимались громко причитать, потом подходили к гробу, били себя в грудь, воздевали руки горé и обращались к мертвому телу Рани, точно она жива. А потом, отерев слезы, женщины выходили на веранду и чудесным образом преображались, будто, стоило им удалиться от гроба и горюющих родственников, потерянное самообладание тут же к ним возвращалось. Кришан не раз слышал, как его мать — а она выросла в Джаффне и терпеть не могла деревенскую жизнь — презрительно отзывалась о причитаниях, которые, по ее словам, она слышала на каждых деревенских похоронах:

не причитания родственников усопшего, они-то, как правило, скорбят искренне, а причитания всех прочих, тех, для кого эта смерть была не так уж важна и кто порой толком не знал покойного; эти люди, по словам матери Кришана, шли на похороны, перешучиваясь или насвистывая веселый мотивчик, у гроба же принимались кривляться, после чего, когда уже никто на них не смотрел, жили себе дальше как ни в чем не бывало. Сплошное притворство, пренебрежительно говорила мать Кришана о поведении таких женщин, ломают комедию, чтобы все видели, как близки они были с покойным. И так притворялись не только собравшиеся на похороны, продолжала мать, иногда и родные усопшего, помимо барабанщиков и священника, нанимали плакальщиц, чтобы показать, как любили и ценили покойного, какую тяжкую понесли утрату. Кришан прежде толком не понимал, о чем говорит мать, потому что ни разу не был на деревенских похоронах и еще потому, что мать всегда с подозрением относилась к проявлениям чувств, если ей надо было поплакать, делала это тайком, вот Кришан и счел материны слова очередным доказательством ее скептицизма. Но, слушая сейчас плачи и причитания новоприбывших

(вряд ли все они были близкими родственниками и друзьями Рани) и видя, что, вернувшись на веранду, они мгновенно успокаиваются, Кришан невольно думал о том, что мать, пожалуй, права, тем более что единственная, кто не пролил ни слезинки, была дочь Рани, а уж для нее-то смерть матери стала ударом куда более серьезным, чем для любого из собравшихся. Дочь Рани горевала, Кришан это ясно видел, но не билась в истерике, в отличие от прочих женщин (пожалуй, и притворявшихся), — наверное, так устала, что не было сил скорбеть, или еще полностью не осознала случившееся, а может, все дело в том, что потерявшие близких не обязаны горевать именно тогда, когда это предписывает обычай.

Распорядитель похорон, прихрамывающий мужчина средних лет в будничном наряде, рубашке и брюках, вышел на веранду и принялся сзывать всех собравшихся в саду — крикнул, что все, кто хочет посыпать рисом губы усопшей, могут пройти в дом. Некоторые из тех, кто стоял на веранде и в саду, направились в комнату, хотя там и так было не протолкнуться, и Кришан последовал за ними — посмотреть, что будет. Близкие родственники и друзья семьи один за другим подходили к гробу, набирали пригоршню

сухого риса и аккуратно высыпали на губы Рани; ни смысла, ни важности этого действия Кришан никогда не понимал. Наблюдая за происходящим, он думал только о том, что Рани по иронии судьбы устроили похороны со всеми положенными церемониями, — той Рани, которая, когда жила у них в Коломбо, не раз признавалась, как сильно жалеет, что ей пришлось бросить тело младшего сына на обочине дороги, где по нему будут ползать мухи, что она не сумела похоронить его по-человечески. Она ведь не только не похоронила его, но и не провела ни один из надлежащих обрядов: например, кадаттра, который устраивают на следующий день после кремации, когда забирают прах из крематория и приносят домой. Вряд ли в лагере для интернированных Рани смогла провести эттукелаву, церемонию, которая обычно приходится на пятый или седьмой день после кремации, когда перед украшенной цветочным венком фотографией расставляют любимые блюда усопшего, а коль скоро у Рани не осталось праха сына, то и антхиетти она не могла провести, то бишь высыпать пепел в реку, океан или пруд, а ведь это, пожалуй, один из самых важных ритуалов после сожжения тела. Рани могла лишь каждый год отмечать годовщину смерти

сына, тхувасам, для этого не нужен ни прах, ни тело, достаточно фотографии, венка и священника. С тех пор как Рани выпустили из лагеря для интернированных, она каждый год устраивала тхувасам по обоим своим сыновьям, и в прошлые два года с большой помпой: на церемонии уходили все деньги, которые она зарабатывала, ухаживая за аппаммой, Рани приглашала всю деревню и уезжала из Коломбо за неделю до торжества, чтобы как следует подготовиться. Кришан вспомнил, как однажды вечером они смотрели новости в комнате у аппаммы, по телевизору шел репортаж из маленькой деревушки, где престарелые матери тамилов, пропавших без вести, целый месяц устраивали протесты, требуя от властей расследовать исчезновение десятков тысяч тамилов, которые сгинули без следа во время войны или сразу после нее. Женщины требовали хоть какой-то определенности относительно того, что стало с их сыновьями, мужьями и братьями: это нас хоть немного успокоило бы, пояснила журналисту одна из женщин, мы хотя бы узнали, что случилось с нашими любимыми. Едва репортаж закончился, Рани повернулась к Кришану, покачала головой и сказала: как все-таки хорошо, что я видела тела моих сыновей, что

мне удалось напоследок обнять младшего сына, понятия не имею, что бы я делала, если бы они пропали без вести, если бы я жила и не знала, живы они или умерли. Если не увидела и не обняла своего мертвого ребенка, — продолжала Рани, — то и не осознаёшь, что его больше нет, а родственники пропавших без вести, в отличие от меня, вынуждены жить в ожидании, так и не смирившись с тем, что их сыновья, мужья или братья мертвы, ведь есть вероятность, что они уцелели и сидят где-нибудь в тюрьме, хотя, конечно, они опасаются чересчур уповать на такую возможность, боятся в нее поверить, учитывая, сколько безымянных могил на севере и востоке.

Кришан всегда полагал, что индуисты сжигают тела усопших и рассеивают их прах, дабы подчеркнуть бренность плоти, ее уязвимость, эфемерность, и теперь, с удивлением наблюдая, как собравшиеся друг за другом сыплют рисинки на губы Рани, думал о том, что плоть тем не менее играет главную роль в индуистских похоронах, что во всех траурных ритуалах ей придают большое значение. Ее чествуют не только на похоронах, когда труп наряжают, когда собравшиеся на похороны разговаривают с ним, как с живым, и оглаживают его, но и во время

кремации и последующих обрядов: сперва прах, который после сожжения собирают в урну, так что урна становится своего рода уменьшенным физическим воплощением тела, и даже после кремации с ним обращаются с уважением, подобающим тому, изначальному телу. Даже когда тридцать один день спустя прах рассеивают, когда это уменьшенное воплощение тела, которое берегли месяц, предают воде, даже тогда оно символически пресуществляется в физический предмет — в фотографию, ее украшают венками, вешают дома на стену, но каждый год в годовщину смерти снимают, творят над нею молитвы, подносят угощение, точно образ способен поглощать и переваривать пищу; иными словами, фотография становится не столько олицетворением, сколько вещественным воплощением усопшего. Судя по тому, что Кришану довелось повидать, с умершим всегда прощаются постепенно: сперва с настоящим телом, потом с уменьшенным телом, потом с символическим телом, которое хранят в доме; это лишь подтверждает, что с телом расстаться трудно, равно как и тот факт, что от тела того, кого мы любили, никогда не получается окончательно отказаться. Наверное, потому-то символическое угощение

играет такую роль в траурных ритуалах, подумал Кришан: потому-то и сыплют рис на губы усопшего, и ставят кушанья перед его фотографией — неудивительно, что в культуре, в которой еда и процесс ее поглощения столь важны, в культуре, в которой накормить человека значит проявить заботу и любовь, в которой спросить, поел ли человек, все равно что спросить, все ли у него благополучно, в которой правила, с кем можно садиться за стол, а с кем нет, укрепляют границы между кастами, — в такой культуре угощение и еда суть физические процессы, расстаться с которыми скорбящим всего труднее, так что даже если тело давным-давно перестало принимать и переваривать пищу, скорбящие продолжают находить утешение в кормлении усопших.

Наблюдая из сада за происходящим в доме, Кришан думал о кладбищах павших солдат «Тигров» по всему северо-востоку: эти кладбища, уже стертые с лица земли, напомнили Кришану ту пору — каких-то несколько лет назад, — когда северо-восток Шри-Ланки был совершенно другим. Хотя большинство «Тигров», как мужчин, так и женщин, втайне верили в индуистских богов, но своих мертвецов не сжигали, а хоронили в земле; Кришан откуда-то помнил, что так пове-

лось, потому что на северо-востоке было много тамилов-христиан. Солдат, павших во время кампаний по завоеванию новых земель, погребали на новых кладбищах, устроенных на той земле, за которую они сражались, прочих же мертвецов хоронили — пусть даже символически, если тело не удалось отыскать, — на одном из обширных кладбищ, и прежде существовавших на севере и на востоке. Кришан ни разу там не был, но видел ролики и фотографии: бескрайние открытые пространства с бесконечными рядами крупных горизонтальных надгробных камней, различавшихся только надписями, сообщавшими, кто под ними лежит. Кладбища были открыты круглосуточно для всех, кто желает помянуть своих погибших, территорию каждый день подметали, по торжественным случаям высоко над могилами развешивали гирлянды красно-желтых флажков «Тигров», а в Мавирар Наал, ежегодный день памяти павших воинов, со всей территории, подконтрольной «Тиграм», на эти кладбища собирались толпы и толпы людей, слушали речи, оплакивали потерянных сыновей, дочерей, сестер и братьев, со скорбной гордостью своей жертвой слушали гремевшие из колонок песни «Тигров» о преданности и бесстрашии; Кришан

ни разу не присутствовал лично при этих сценах, полных неизмеримой печали и боли, но они тем не менее навсегда отпечатались у него на сетчатке. После войны правительственные войска сровняли с землей все эти кладбища с сотнями и тысячами павших бойцов, бульдозеры, изготовленные в Китае, уничтожали все могилы без разбора, так что теперь на северо-востоке от них не осталось следа, как не осталось следа от солдат, и женщин, и мужчин, безвестно павших за будущее, которое так и не наступило, и даже останки старшего сына Рани — а его, скорее всего, похоронили на одном из этих кладбищ (Кришан только сейчас это сообразил) — наверняка уничтожили, убрали из места упокоения.

Разумеется, ликвидировали не только кладбища, но и все бывшие штабы, базы, оружейные склады «Тигров», все их указатели, плакаты и памятники, после чего военные приступили к расчистке завалов в местах бомбежек, разминировали территории по всему северо-востоку, восстановили дороги в рытвинах от снарядов и железнодорожные пути. Вскоре о том, что некогда в этих краях действовали сепаратисты и шла война, напоминали только палатки, где по-прежнему жили люди, да шрамы на их телах

и безволосая кожа на культях ампутированных рук и ног. Власти ровняли северо-восток с землей и восстанавливали из руин, разумеется, для того, чтобы стереть малейшие воспоминания, которые могли бы побудить тамильское население вновь развязать войну, и более-менее преуспели в этом: сейчас на северо-востоке о «Тиграх» нет разговора, разве что кто-нибудь вспомнит о них ненароком. Это хотя и странно, учитывая, что здешняя жизнь десятки лет вращалась вокруг «Тигров», но в общем понятно, ибо памяти нужны подсказки от обихода, она работает лишь посредством ассоциаций между тем, что было, и тем, что есть, а следовательно, если методично изничтожать подсказки, составляющие обиход, то и вспоминать будет гораздо труднее. В отсутствие материальных предметов, помогающих памяти функционировать самостоятельно, ее приходится поддерживать целенаправленно и осознанно, а как прикажете обычному обитателю северо-востока деятельно культивировать в себе воспоминания об исчезнувшей жизни, когда у него есть масса куда более насущных задач — свести концы с концами, выстроить заново дом, дать детям образование — и эти задачи занимают все его мысли? Правда в том, что большинство

людей рано или поздно все равно позабыли бы прошлое, даже если бы власти не уничтожили следы деятельности «Тигров»; правда в том, что все памятники со временем лишаются важности и значения, подобно памятникам и мемориалам в Коломбо, посвященным так называемой борьбе за независимость от британцев, — теряются в незамеченном и неосмысленном бескрайнем пейзаже обыденной жизни. Сознательно или нет, но о прошлом всегда забывают, в любых странах мира, среди любых народов, и явление это связано не столько с теми силами, которые стремятся стереть или переписать историю, сколько с природой времени, с тем, что настоящее всегда важнее прошлого, причем важно не столько время — над ним мы как раз не властны, — сколько обстоятельства жизни: они неизменно требуют нашего внимания, неизменно столь решительны, ярки и всеохватны, что, едва какая-то их часть исчезает, мы тут же о ней забываем. Стоит нам выбросить рубашку, которую мы несколько лет подряд носили каждую неделю, и через неделю мы забываем о ней навсегда; стол, за которым мы ежедневно на протяжении десяти лет дважды в день принимали пищу, можно заменить — и за месяц привыкнуть к новому; даже когда исчезает

нечто особенно важное, нечто, долгие годы составлявшее средоточие нашей жизни, даже тогда мы очень быстро смиряемся с произошедшим, очень быстро приспосабливаемся к новым обстоятельствам, так что через считаные месяцы или годы нам кажется, будто это новое было всегда.

Разумеется, порой мы сами предпочитаем забыть — например, по завершении мучительных отношений мы удаляем все их следы из памяти телефона, дабы вычеркнуть их из жизни, — и в этом смысле забвение не так уж и отличается от памяти, это важная и необходимая часть нашей жизни, в равной степени нужная для того, чтобы определить, кто мы такие и к чему стремимся. При этом сознательное забвение, необходимое для того, чтобы примирить наше прошлое с настоящим, коренным образом отличается — Кришан это знал — от забвения, навязанного нам против воли: оно зачастую лишь способ вынудить нас принять то настоящее, к которому мы не желаем иметь ни малейшего отношения. И если забвение было навязано нам таким образом, неизменно появятся люди, которые будут упрямо помнить, люди, которые будут сопротивляться не только тому, что власти стремятся стереть те или иные события прошлого, но и забвению как таковому,

неизбежному со временем, — люди, почитающие своим долгом помнить о жизни, которую у них отобрали, и неважно, в силу каких причин: они будут делиться историями, изображениями, песнями, видеороликами, сохранившимися в их сердцах и на жестких дисках, и позаботятся о том, чтобы их прошлое и дальше существовало хоть где-то, как-то, даже если исчезнут все объективные доказательства, даже если в публичном пространстве невозможно будет рассказывать эти истории. Даже если больно делиться тем, что происходило во время войны, даже если большинству легче страдать молча, утаивая воспоминания о той жизни, которую они пытались построить, и о той силе, что ее уничтожила, все равно останутся люди, которые упорно будут помнить — в том числе активисты, художники, архивариусы, сознательно избравшие себе такую стезю, но большинство все же обычные люди, у которых просто-напросто нет другого выхода, люди вроде Рани, которые в самом прямом смысле не сумели принять жизнь, лишенную того, что они потеряли, люди, утратившие способность участвовать в настоящем и потому до конца своих дней обреченные жить воспоминаниями и мечтами, строить в уме, подобно храму Пу-

сала, монументы и мемориалы, которые им не дано выстроить во внешнем мире. Вот почему, неожиданно понял Кришан, стоя в саду, Рани в Коломбо так часто бывала задумчива: вовсе не из-за депрессии или печали, просто она строила в уме место, где сумеет воссоединиться со своими потерянными сыновьями, место, куда можно удалиться от мира, который каждый день и каждую ночь бомбардирует пустотой ее чувства.

Доносившиеся из дома причитания не прекращались, смешивались с барабанным боем, темп и громкость его, в свою очередь, нарастали, так что более звучный и быстрый стук, объявлявший о новоприбывших, уже было не отличить от той дроби, которую барабанщики выбивали в промежутках. Кришан поднял глаза, увидел, что на веранду вновь вышел распорядитель, на этот раз с сообщением о том, что сейчас можно в последний раз увидеть покойницу, потом гроб закроют; услышав это, ожидавшие на веранде и в саду зашевелились, те, кто стоял в саду, направились на веранду, те, кто был на веранде, выстроились в очередь, чтобы войти в дом. Кришан тоже устремился к дому, хотя там уже было не протолкнуться, и пристроился в конец стихийной очереди, скрывавшейся в дверях.

Вошедшие в дом толпились у гроба, проталкивались поближе, подобно тому, как верующие в храме распихивают друг друга, чтобы, когда откроют завесу, увидеть статую бога; мужчины прикасались к гробу, некоторые плакали, разговаривали с усопшей, но большинство стояло с каменным лицом; женщины гладили Рани по лицу, плечам и рукам, воздевали ладони ввысь, били себя в грудь, голосили. Причитания достигли пика, женщины рыдали в унисон, голоса их взмывали и падали так ритмично и громко, что порою, казалось, затмевали даже стук барабанов, а тем оставалось лишь аккомпанировать голосам, задавать музыке коллективных причитаний ритм, от которого она тем не менее отставала. Ошеломленный происходящим, столь отличным от чопорных похорон, которые ему доводилось наблюдать в Коломбо, Кришан, смешавшись с толпой скорбящих, бросил взгляд на дочь Рани. Она стояла в изголовье гроба, но от ее самообладания не осталось следа, у нее подкашивались ноги, ее, как и прежде, поддерживали под руки две старухи, а она рыдала в голос и гладила мать по лицу. Сопровождать гроб на место кремации дозволялось только мужчинам, дочь Рани видела мать в последний раз и оттого ли, что понимала

это, от громкого ли барабанного боя и причитаний, но тоже заговорила с матерью, запричитала вместе с прочими женщинами, хотя слова ее терялись за голосами, что взмывали и падали в комнате. Кришан по-прежнему не понимал, все ли женщины рыдают искренне, но пока его теснили к центру комнаты — он наступал кому-то на ноги, ему наступали на ноги, от жара тел и дыханий нечем было дышать, — ему пришло в голову, что, пожалуй, ошибочно думать о причитаниях с точки зрения искренности и неискренности, что, пожалуй, плачи, вопли, стенания, раздававшиеся вокруг, вовсе не выражение чувств, а своего рода услуга родственникам усопшего, пусть даже спектакль, но спектакль, который, вкупе с барабанами и обрядами, должен помочь родственникам оплакать утрату, выжать из них — так повитуха во время трудных родов сноровисто мнет живот роженицы и успокаивает ее ритмичной скороговоркой, — выжать из них слезы, которые сами собою, без помощи, никак не желают идти. Ведь понять, что такое смерть, непросто, и даже тем, кого сильнее всего затрагивает потеря, трудно по-настоящему смириться со смертью, по-настоящему оставить в покое и себя, и другого; пожалуй, основное предназначение традиции причитаний

— помочь скорбеть тем, кто понес утрату, их друзья, родственники и община плачут (пусть даже сами и не чувствуют этой боли), дабы помочь заплакать горюющим. Приблизившись к гробу, Кришан во второй раз увидел мертвую Рани, ее напудренное лицо, рисинки, упавшие с губ на белый атлас обивки, ее бледные руки, сложенные на животе. Плакать не получалось, слезы подступали к глазам, но отказывались проливаться, однако в гуще толпы, средь толкающихся, напирающих, теснящих друг друга, средь голосящих и причитающих, средь барабанного боя Кришан целиком погрузился в происходящее, каким бы оно ни было, стал полноправным его участником, а не наблюдателем, ощутил его мощь, словно совершавшееся вокруг дало выход творившемуся в душе, выманило наружу из глубины сознания. Он сложил ладони, легонько дотронулся до плеча Рани, поднес руки к своим глазам, благословил ее и себя, коснулся пальцами ее лба и шеи и снова благословил себя: он наконец осознал, что перед ним действительно лежит Рани, стоял у гроба, смотрел на нее, пока его не оттеснили; Кришан, шаркая, обошел вокруг гроба и вернулся в сад.

Ожидание витало в воздухе, барабаны стучали с лихорадочным напряжением, четверо

барабанщиков по-прежнему стояли у изгороди, погруженные в ритм своей дроби. Все больше зашедших в дом возвращалось во двор, распорядитель покрикивал нетерпеливо, поторапливал собравшихся, освобождая место у гроба. Женщины, поддерживавшие дочь Рани, чуть отступили с нею вместе от гроба, распорядитель с помощником аккуратно подняли крышку и закрыли гроб. Потом вышли во двор: там сбоку от дома у стены стояли носилки — два деревянных шеста, скрепленные крест-накрест палками, перевязанные веревкой и покрытые переплетением сухих пальмовых листьев. Распорядитель с помощником подхватили носилки, отнесли их к веранде и поставили на землю возле крыльца, после чего распорядитель, перекрикивая рыдания и барабаны, велел собравшимся расступиться. Распорядитель жестом велел помощнику идти в дом, и тот вместе с еще четверыми или пятерыми мужчинами поднял гроб. Распорядитель шел впереди, расчищая путь, гроб медленно и осторожно, стараясь не наклонять, вынесли на веранду, следом вышла дочь Рани, за нею все женщины, с самого начала бывшие в доме, все они били себя в грудь и без умолку голосили. Гробоносцы спустились с веранды в сад, пере-

крикиваясь сквозь гомон, дабы согласовать свои действия, и бережно, аккуратно опустили гроб на носилки. Вокруг гроба тут же столпились люди, как ни силился распорядитель заставить их расступиться, — посмотреть, как гроб привязывают к носилкам. Кришан заметил, что барабанщики вышли из сада и теперь стоят за оградой; следом за ними в проулок вышел с бесстрастным видом зять Рани, на правом плече у него стоял большой и явно тяжелый глиняный горшок. Расступитесь, крикнул распорядитель столпившимся возле гроба, и мужчины — двое спереди, двое сзади и двое по бокам — на счет «три» подняли одним движением на плечи носилки с надежно закрепленным гробом. Причитания достигли пика, хор преимущественно женских голосов взмывал в воздух, носилки в сопровождении распорядителя рывками и с остановками пронесли по саду к воротам, толпа следовала за гробом. Гробоносцы, с трудом протиснувшись сквозь узенькую калитку, вышли в проулок, женщины остановились у изгороди, с причитаниями воздевали руки к небу, мужчины направились за гробоносцами, Кришан тоже присоединился к процессии, уносившей гроб от дома. Обернувшись, он увидел, что дочь Рани стоит у изгороди, уже не плачет,

не голосит, лишь молчит и тяжело дышит, провожая их взглядом, и чем больше они удалялись от дома, тем меньше и призрачнее становилась ее фигурка, наконец они завернули за угол, и она скрылась из виду. Процессия двигалась медленно, однако без остановок, впереди молча шагал зять Рани с глиняным горшком на плече, за ним гробоносцы с носилками и все остальные мужчины; одни, проходя мимо своих домов, покидали процессию, другие и дальше беззвучно следовали за телом. Так они шли по деревне, но не к главной дороге, где Кришан высадился из автобуса, а все дальше и дальше от каких бы то ни было связей с внешним миром, шагали по узким извилистым грунтовым дорожкам и в конце концов очутились на пустоши, поросшей травой и кустами. На фоне этих просторов, замерших вдали высоких и строгих пальмир казалось, будто процессия стоит на месте; солнце начало путь к закату, превращая пальмы в темные силуэты, день начал клониться к вечеру, золотисто-желтый свет понемногу окутывал окоем, а Рани начала свой последний безмолвный путь в далекие дали.

9

Процессия двигалась медленно из-за бремени гроба, разворачивавшийся перед ними бескрайний холмистый пейзаж становился все зеленее, покрытый травой, растениями, кустами, что прорывались там-сям в хаотичном буйстве, и купами деревьев, отягощенных густыми листьями и ветвями. Кругом не было ни души, лишь раз навстречу попался мужчина на велосипеде, при виде процессии он замедлил ход и остановился на обочине; только крохотные, невесомые белые бабочки порхали вокруг, словно в замедленной съемке, сновали в траве. Кришан семь часов добирался на поезде из Коломбо до Килиноччи, потом три часа на двух автобусах до деревни Рани, по прибытии в ее дом ему показалось, что он заехал в самую глубь северо-востока, но сейчас, дойдя до конца деревни и очутившись средь этих нежданных просторов, на проселке вдали от любого шоссе, он невольно почувствовал себя так, будто попал в необъятную глушь, в места, которые не отыскать ни на одной карте, которых не коснулась ни одна историческая хроника, однако эти места отчего-то выглядели

знакомыми, словно он бывал здесь во сне или же в прошлой жизни. Кришан по-прежнему был в самом хвосте процессии, шедшие впереди, человек двадцать-тридцать, двигались молча, неспешно, глядели себе под ноги или на дорогу впереди, барабанщики, шагавшие сразу за гробом, выбивали негромкую дробь, но она лишь подчеркивала окружающую тишину. В тесном закрытом пространстве домика Рани, в пределах аккуратного, огороженного ее сада Кришана переполняли чувства, ошеломляли причитания и стук барабанов, вид гроба и обступивших его людей, теперь же, под раскинувшимся над ними предвечерним открытым небом, эти ощущения казались ему мелкими, даже ничтожными, словно средь этих просторов и по сравнению с их широтой они обратились в ничто; избавившись от ощущений, объединявших его с прочими присутствовавшими на похоронах, Кришан вернулся к собственным мыслям, вспомнил, кто он такой.

Впереди чуть поодаль рельеф становился ровнее, по левую сторону от проселка тянулась мерцающая поверхность, отражавшая бледное золото неба. Бабочки встречались все реже, их сменили более юркие, стремительные стрекозы, мерцающая поверхность вблизи оказалась

огромным озером, ближние ее берега поросли папоротниками и высокой травой, дальних было не разглядеть, они сливались не то с холмами, не то с облаком на горизонте. Трудно сказать, было ли это озеро естественного происхождения или все-таки пруд, вырытый в старину по приказу царя или военачальника, за давностью лет такие пруды сделались неотъемлемой частью экосистемы, но чем дольше Кришан глядел на озеро — его спокойные, мирные воды с тихим плеском набегали на берег, — тем сильнее в нем крепло чувство, что он уже был здесь, проходил по этой дороге, сиживал на берегах этого самого озера. Таких больших водоемов на северо-востоке Шри-Ланки не так чтобы очень много, и Кришан это знал, а потому достал телефон, чтобы найти озеро на картах «Гугла», но толку из этого не вышло, поскольку сигнала не было. Кришан подумал, что, наверное, проезжал мимо этого озера в одной из командировок, когда работал в Джаффне, однако он точно помнил, что прежде не был в деревне Рани, да и в этих краях тоже бывал нечасто. Можно было спросить у кого-нибудь из шагавших рядом, как называется озеро, но они, казалось, его словно не замечали, погруженные в свои мысли, и спрашивать было неловко. Кри-

шан то и дело невольно поглядывал на озеро, как на лицо, которое где-то видел, но где именно, отчего-то не помнит, и лишь когда заметил камыши, торчавшие на мелководье, у него в голове словно бы что-то щелкнуло и вмиг прояснело: он с удивлением осознал, что помнит озеро не потому что был здесь, а потому что видел его в интернете, в документальном фильме, который смотрел несколько лет тому назад в Дели. Фильм этот Кришан пересматривал раза два или три и потом еще несколько месяцев не мог выкинуть из головы; Кришан нашел его на Ютьюбе в ту пору, когда ему не давала покоя прочитанная недавно история Куттимани, в ту пору, когда его внимание привлекали не столько травмы конца войны, сколько чаяния ее начала. Фильм, названия которого Кришан уже не помнил, длился не более часа, и хотя сняла его режиссер то ли из Дании, то ли из Норвегии, не разберешь, то ли еще из какой североевропейской страны, в нем не было ни фальшивого добродушия, свойственного многим европейским и в особенности британским документальным фильмам о насилии и страдании в бывших колониях, ни праведности и всезнайства, так легко возникающих в подобных материалах. Сюжет фильма строился на жизни

двадцатичетырехлетней Дхаршики, Кришан живо ее запомнил, на момент съемок она была активной участницей «Черных тигров», элитарного подразделения ТОТИ. «Черных тигров» боялись как никого: они тщательно и дотошно готовили и совершали теракты — от убийств политических деятелей и взрывов в общественных местах до небольших, но разрушительных атак на правительственные войска и военно-морские базы; наблюдая за тем, как Дхаршика говорит и как держится в фильме, Кришан с предельной ясностью видел в ней нечто такое, что роднило ее с элитарным подразделением террористов-смертников. В некотором смысле эта роль была предначертана ей свыше, и не только потому что Дхаршика была поразительная красавица (точеные, почти величественные черты, сияющая смуглая кожа), но и из-за проницательного строгого взгляда, уверенности в осанке, убежденности в голосе, когда она рассуждала о зверствах ланкийских властей и своей готовности сражаться и умереть, защищая народ. Таких, как она, некогда были тысячи, но, слушая ее рассказ, Кришан невольно задавался вопросом, откуда она взялась, как стала такой, какой стала, какие жизненные события, какие личные склонности направили ее на путь,

столь отличный от того, который выбирают ее ровесники и ровесницы, путь, очевидно ведущий к смерти, а следовательно, и полному исчезновению сознания, однако она тем не менее шла этим путем с такою легкостью и спокойствием, точно ей не терпелось скорее дойти до конца.

По словам ее матери — с дочерью они не были близки, и эта тема, насколько запомнил Кришан, в фильме была одной из центральных, — когда разразилась война, Дхаршике было всего два года. Их семья обитала в Джаффне и с первых же дней очутилась в гуще боев, так что самые обычные бытовые заботы для них были сопряжены с большим риском, стычки между правительственными войсками и «Тиграми» вспыхивали так внезапно, что родным Дхаршики зачастую приходилось, бросив дела, мчаться в укрытие. Даже если сражений не было, солдаты все время патрулировали деревни и под предлогом досмотра на блокпостах лапали девушек и женщин, из-за чего те старались не выходить из дома. В детстве Дхаршика была очень привязана к старику-священнику из соседней церкви, рассказывала перед камерой ее мать, во время молитв и богослужений старалась усесться поближе к нему, а если он в чем-то нуждался, всегда старалась

помочь. Дхаршика с детства решила, что станет монахиней, печально добавила ее мать, посвятит жизнь Деве Марии. В следующем эпизоде Дхаршика стоит перед руинами разбомбленной церкви, авторы фильма, очевидно, спрашивают ее об этой забытой поре ее детства, и Дхаршика пространно рассказывает о том, что, навидавшись зверств, поменяла планы — в частности, вспоминает случай, как военные во время боев вели по церкви артиллерийский огонь, несмотря на то, что в ней прятались мирные жители, и потом внутри храма рядом с упавшим крестом высились горы трупов. Дхаршика нервничала, рассказывая об этом, но все же владела собой, лишь изредка ладонью смахивала слезу, точно отгоняя муху, а после заговорила о том, что христианство-де учит «подставить другую щеку», но если Бог радеет о справедливости, как же Он допустил, чтобы в Его доме творилось такое? Из-за этих-то соображений Дхаршика обратилась от Бога к «Тиграм», к их Верховному главнокомандующему, но примечательно, что новое увлечение не заставило ее отвернуться от Девы Марии, Дхаршика по-прежнему при первой возможности заходит в старую церковь, о чем буднично рассказала авторам фильма, подолгу просиживает

перед уцелевшей одинокой статуей Богородицы и часами изливает Ей душу.

Несомненно, на решение девочки вступить в ряды «Тигров» повлияло все пережитое, рассказывала ее мать, но сбежать из дома Дхаршику понудила гибель отца. Он служил в Джаффне на почте близ главной автобусной станции и погиб вместе с еще двадцатью четырьмя несчастными, когда правительственные войска однажды утром сбросили на центр города бомбу. Одни дети сумели пережить боль и горе, вызванные этим событием, пояснила мать Дхаршики, другие же так и не вернулись к нормальной жизни. Дочь ее относилась ко второй категории, и вскоре после первой годовщины смерти отца — Дхаршике тогда было лет двенадцать-тринадцать, — она тайно ушла из дома. Из фильма неясно, в качестве кого ее приняли «Тигры» — может, просто как подопечную организованного ими сиротского приюта, может, она работала на добровольных началах в какой-то из множества их невоенных организаций, а может, ее сразу отправили проходить курс боевой подготовки на какой-нибудь секретной базе. Ясно одно: годам к двадцати Дхаршика уже служила в женской боевой части, и в конце концов ее отобрали в «Черные тигры»:

вакансий там было мало, а попасть туда грезили многие. После того как Дхаршика убежала из дома, призналась ее мать не без смущения, со смесью гордости и печали, они почти не общаются, видятся очень редко, лишь когда дочери удается вырваться в увольнение, да и то ненадолго. Мать слышала, что дела у дочери идут отлично, что храбрость и дарования снискали ей уважение командиров и сослуживцев, но мать понятия не имеет, изменилась ли дочь как личность и если да, то насколько и в чем, молится ли она, как прежде. Дхаршика — с ней авторы фильма, видимо, беседовали где-то неподалеку от ее базы — отзывалась о матери без особой сентиментальности, точно о дальней родственнице, умершей давным-давно, и слушая ее рассказ, Кришан подумал, что после смерти отца Дхаршики отношения матери и дочери, наверное, дали трещину, девочка за что-то обиделась на мать, которая после гибели мужа поднимала детей одна.

Нарочитое равнодушие, какое Дхаршика выказывала перед камерой, подчеркивало ее образ закаленного жизнью бойца; образ этот до известной степени повторяла ее лучшая подруга Пухал, вторая главная героиня фильма, но ее поведение лишь оттеняло их несхожесть. Пухал

служила с Дхаршикой в одном подразделении, ей было двадцать четыре, такого же роста, но изящнее сложена, движения и голос мягче. Пухал тоже охотно щеголяла стойкостью и закалкой, но на вопросы авторов фильма отвечала дольше, зачастую с запинкой, и это перечеркивало образ уверенной в себе девушки, вдобавок Пухал с готовностью рассуждала о своей уязвимости, чего ее подруга не могла или же не хотела. На протяжении семи лет они не расставались ни на день, и в мгновениях обыденной жизни, показанной в фильме, было видно, как им легко и уютно друг с дружкой. В одном из эпизодов подруги — у обеих какой-то высокий дан в карате — рано утром затеяли спарринг, а после отжимались на трех пальцах, параллельно, в одном темпе; в другом эпизоде Пухал, стоя за спиной Дхаршики, расчесывала ее красивые, непослушные, растрепанные волосы, после чего почти с материнской нежностью и заботой заплела ей две аккуратные косички. В совместных интервью девушки с удовольствием подыгрывали друг другу — бравада Дхаршики против задумчивости Пухал, — а когда Дхаршика пошутила, мол, американское правительство подарило нам танк (на самом деле американцы продали его ланкийской армии,

а «Тигры» захватили в бою), Пухал пожурила ее, как маленькую, за легкомысленное отношение к потерям, понесенным в борьбе за танк. В эпизоде, сильнее всего поразившем Кришана, девушки по очереди рассуждают о действиях «Черных тигров», которые, по словам Пухал, выполняют большие задания силами очень маленьких, однако высокопрофессиональных боевых групп, вместо того чтобы давить врага численностью, как делают обычные «Тигры». О задаче им сообщали заблаговременно, после чего они несколько месяцев проходили подготовку с учетом ее специфики — места, времени года и суток, а также объекта (военного, политика или гражданского лица). На задание их отправляли с прикрепленными к груди противопехотными минами «Клеймор»: с их помощью террористки либо уничтожали цель вместе с собою, либо, если цель удавалось уничтожить иными средствами, по выполнении задания подрывали себя, чтобы не попасть в плен к правительственным войскам и не подвергнуться пыткам. Каждая служащая их подразделения мечтала о том, чтобы очередное задание поручили именно ей, сообщила Дхаршика, каждая умоляет, чтобы выбрали ее, поэтому членов отрядов определяют с помощью жребия,

чтобы никто не жаловался, что его несправедливо обошли. С заданий, успешных или нет, «Черные тигры» живыми не возвращаются, и никто из них не ожидает, что вернется живым. Вступая в «Черные тигры», смерти уже не боишься, пояснила Пухал, постепенно учишься принимать как должное неизбежность своей кончины. Это, разумеется, справедливо для всех «Тигров», но «Черные тигры» отличаются от обычных тем, что если обычный «тигр» из-за превратностей войны может погибнуть в любую минуту, боец «Черных тигров» заранее точно знает, где, когда и как именно он погибнет, к гибели его готовят за несколько месяцев, как только дадут задание, гибель планируют и в процессе подготовки он бесконечно прокручивает ее в голове. Кришана поразил тон, каким Пухал высказала это соображение — так, словно для нее одно из преимуществ «Черных тигров» заключается в том, что твоя смерть целиком в твоих руках. Возможно, к этому соображению примешивалась бравада, но Пухал явно утешала себя мыслью о том, что смерть можно спланировать и проконтролировать, что это событие, определяющее всю их жизнь, способное настичь в любую минуту, а следовательно, являющееся постоянным источником сомнения и

тревоги, — что это событие можно выбрать самой, а не ждать, пока тебе его навяжут. Обе девушки так рассказывали о процессе своей подготовки и будущем задании, что Кришан осознал: они не только не боятся умереть, но даже хотят этого, можно сказать — ждут с нетерпением, словно верят, что, умерев, родятся вновь среди народа, за который отдали жизнь, словно народ, за который они сражались, представлялся им чем-то вроде рая, словно со смертью их настоящая жизнь не закончится, а начнется.

Эпизод, снятый на озере, мимо которого как раз проходила их похоронная процессия, запомнился Кришану как кульминация фильма; начался он с того, что Дхаршика и Пухал в камуфляжной форме сидели на берегу, смотрели на воду и силились разглядеть, что же там, на другой стороне озера, облако или горы. Вероятно, девушек спросили, нравится ли им воевать, потому что Дхаршика кивнула и призналась с улыбкой, что, стоит ей зажмуриться, как перед глазами ее плывут картины боев. Мне часто снится, как я сражаюсь, продолжала Дхаршика, оторвала листок с росшего рядом кустика и принялась отщипывать от него кусочки, мне часто снится, что враг приближается, я пытаюсь стрелять, но

заклинило автомат, или стреляю, а вражеские солдаты все равно наступают как ни в чем не бывало, шагают вперед, как зомби, хотя я разрядила в них несколько магазинов. Разумеется, это просто сны, добавила Дхаршика после недолгой паузы, достала из-под одежды стеклянный пузыречек на шнурке, висевший на ее шее, точно кулон, и добавила: нас не возьмут живыми, у нас всегда с собой цианид. И что бы ни случилось, мы можем раскусить капсулу, дабы избежать плена, правда, если ее нечаянно раскусить во сне, сказала Дхаршика, покосилась на Пухал и рассмеялась, тогда крышка, уже не проснешься. Пухал объяснила, что капсулу следует раскусить во время боя или на задании, раздавить пузыречек зубами, чтобы осколки стекла порезали тебе язык, цианид проник в кровь и мгновенно убил. Если же ослабеешь от ран и не сможешь как следует раскусить капсулу, нужно разбить пузырек и капнуть цианид в рану: этого хватит, чтобы яд подействовал. Девушки рассуждали о капсулах с цианидом как о фамильной реликвии, которую с таким вот строгим напутствием передают из поколения в поколение, как о заветной памятке предков и самобытности, и, слушая, как они с благоговением рассказывают об этом, Кришан не

мог отделаться от ощущения, что Дхаршика и Пухал обращаются к камере уже из другого мира.

Потом девушек, видимо, спросили, что для них значит дружба, Пухал отвернулась от камеры, со смущенной улыбкой застенчиво взглянула на Дхаршику, а та в ответ рассмеялась. Судя по их улыбкам, они никогда это не обсуждали, быть может, потому что в таких вопросах поступки важнее слов, а может, неумолимо надвигающийся час их кончины в образе неизвестного пока что задания обессмысливал все разговоры о взаимоотношениях. Дружить, признались девушки, серьезно глядя в камеру, для нас означает разделять чувства друг друга. То есть делиться друг с другом радостью и печалью, помогать и поддерживать, насколько это возможно, хотя, разумеется, мы готовы к тому, что, возможно, придется расстаться, поспешили добавить девушки, если одну из нас переведут в другое место. Затем разговор с дружбы перешел на измену, тягчайшее преступление, которое только может совершить «тигр» и за которое карают смертью (Кришан это знал), даже если доказательств недостаточно. Обе девушки принялись оправдывать строгость такого наказания — объяснили, что «Тигры» сражаются за благо народа и если

некий предатель, разгласив секретные сведения, подвергнет их общее дело опасности, то лучше пристрелить предателя, чем поставить под угрозу движение и народ. А если мне скажут, словно бы невзначай добавила Дхаршика, глядя в камеру, если мне скажут, что Пухал предала наше дело и тому есть веские доказательства, у меня не дрогнет рука пристрелить лучшую подругу. Правда, когда она это говорила, на лице ее мелькнула тень сомнения, точно Дхаршика сама удивилась словам, сорвавшимся с губ; девушка замолчала, отвернулась от камеры, будто ляпнула наобум и ей нужно лучше обдумать гипотетическую ситуацию, о которой она высказалась. Дхаршика уставилась на камыши, чуть погодя вновь повернулась к камере, кивнула с серьезным видом, словно подтверждая истинность своего первого побуждения, и повторила, что пристрелила бы Пухал, если бы та предала их дело. Пухал, не сводившая взгляда с озера, повернулась и посмотрела на Дхаршику, а та уставилась вдаль, чтобы не встречаться глазами с подругой. Повисло длительное молчание, было слышно лишь, как вода плещет о берег да тихонько гудят стрекозы, Дхаршика все общипывала листья с растущих рядом кустов, рассеянно раз-

глядывала, рвала на мелкие кусочки и бросала на землю. Наконец заговорила Пухал, отвечая на сказанное Дхаршикой. Обо всем, что мы делаем, в конце концов узнает Верховный, заявила она, и если мы сделаем что-то хорошее, Верховный об этом услышит, и если мы сделаем что-то плохое, Верховный об этом услышит, и если мы совершим измену, Верховный тоже об этом услышит. И если Верховный подтвердит, что Дхаршика действительно совершила измену, казнить ее, скорее всего, поручат кому-то другому, если же по какой-то причине сделать это придется Пухал, она пристрелит Дхаршику, повинуясь приказу. Тут Пухал ликующе улыбнулась, словно гордилась тем, что ради общего дела тоже готова убить лучшую подругу, почесала кончик носа, нахмурила брови, отвернулась, лицо ее приобрело раздраженное выражение, хотя трудно было сказать, на кого досадовала Пухал — на оператора ли, снимавшего эту сцену, на подругу ли, ведь та первая, не моргнув, заявила, что у нее не дрогнет рука пристрелить Пухал, на себя ли — за то, что ответила в тон Дхаршике. Девушки вновь замолчали, Пухал глядела на озеро, Дхаршика рвала на клочки очередной листок, в следующем кадре показали уже просторы Ванни с двумя высоки-

ми, на первый взгляд заброшенными зданиями вдали, окруженными со всех сторон густой растительностью, а две героини с автоматами на плечах стояли бок о бок в углу экрана.

Когда Кришан в первый раз смотрел фильм, его поразила эта сцена, так отчетливо запечатлевшая Дхаршику, Пухал, их жизнь и отношения; этим девушкам пришлось бросить все, дабы вступить в ряды «Тигров», — дом и деревню, родных и друзей, — и, оставив прежнюю жизнь, они привязались друг к другу, почти каждый день на протяжении семи лет просыпались рядом, но, несмотря на это, готовы были пожертвовать друг другом ради общего дела, даже, если понадобится, друг друга убить; это и трогало, и тревожило, и смущало. Кришан догадывался, что обеих наверняка уже нет в живых, вероятно, они погибли через несколько лет после съемок фильма, скорее всего, во время очередного теракта (к концу войны они делались все отчаяннее) или защищая стремительно сокращавшиеся территории «Тигров». Странно осознавать, что сейчас он, возможно, идет мимо озера, на которое некогда глядели те девушки, ступает по той же земле, по которой многие годы назад ходили они, странно осознавать, до какой степени изменился Кришан

с тех пор, как впервые увидел те эпизоды, каким чужим в пору жизни и учебы в Дели представлялся ему северо-восток Шри-Ланки, точно его самого когда-то отсюда изгнали, точно после того как война завершилась и мир, прежде существовавший здесь, был уничтожен, тоску Кришана по здешним краям не могло утолить ничто. Он в ту пору уж месяца два как встречался с Анджум и до сих пор не забыл, как ему не терпелось поделиться с ней этим фильмом, чтобы она хоть краешком глаза взглянула на тот уничтоженный мир, который мнился Кришану частью его самого; он не сомневался, что на Анджум произведет впечатление тот факт, что и Кришан родом оттуда, пусть он и не во всем согласен с тем, что натворили его земляки. В следующую встречу Кришан рассказал ей о фильме, и они условились посмотреть его вместе, но это оказалось сложнее, чем он рассчитывал, потому что Анджум по выходным почти не бывала в Дели и чаще раза в неделю видеться с ним не могла. При встрече они, разумеется, сутками не расставались, так что чисто теоретически время у них было, но в ту пору они, очутившись рядом, могли лишь глядеть и чувствовать на себе взгляд другого, могли лишь насыщаться и насыщать собою, так что Кришан,

даже вспомнив о фильме, не решился упомянуть о нем, сочтя с беспокойством, что совместный просмотр — сидеть рядом, не обращая при этом внимания друг на друга, — занятие слишком будничное, не соответствующее их чувствам.

Потому-то фильм — первый и единственный фильм, который они с Анджум посмотрели вдвоем, — они увидели только в Бомбее, да и то к концу поездки, в тот первый раз за четыре или пять месяцев их отношений, когда они не расставались три недели и стремление к трансцендентности, прежде ими владевшее, сменилось возможностью иных, более нежных способов совместного пребывания. Жили они в комнате у подруги Анджум (та как раз отлучилась из Бомбея), поначалу, после поезда, чувствовали себя неуверенно, даже неловко, но постепенно освоились; первые дни курили, болтали, спали вместе, из дома выходили редко и недалеко — словом, жили, как в Дели, с тою лишь разницей, что город был другой, город у моря, очень богатый и очень бедный, город, даже больше, чем Дели, казавшийся маскою, миражом, иллюзией, их окружавшей. Вскоре стало ясно, что весь отпуск так жить не удастся и раз уж им предстоит провести вместе продолжительное время, придется уделять внимание различным

духовным и телесным надобностям, которыми они в Дели чаще пренебрегали. Во-первых, им нужно питаться, а поскольку все время есть в кафе они позволить себе не могли, значит, надо готовить, покупать мясо и овощи. Засыпали они теперь более-менее вовремя, а не когда сморит от усталости, ведь если ночью не спишь, днем не пойдешь смотреть город, а они приехали в Бомбей вроде как за этим. У Анджум были в Бомбее друзья, с которыми она познакомилась за годы активистской деятельности; предполагалось, что она с ними встретится, и Кришан с Анджум впервые выбрались вместе в люди. Его удивило, какой обаятельной может быть Анджум с другими, какой дружелюбной и непринужденной; он с первой же встречи почувствовал в ней эти качества, но потом позабыл о них. Она постоянно расспрашивала друзей об их чувствах и взглядах, их привычках, укладе жизни, расспрашивала подробно, вдумчиво, с подкупающей искренностью, которая проистекала из неподдельного интереса к их жизни, но отчасти, догадывался Кришан, была обусловлена нежеланием рассказывать о себе. Кришан также заметил, что Анджум старается ни словом, ни делом не намекать на то, что они пара, и хотя это его смущало, он с отно-

сительной легкостью забывал о таких моментах, обнадеженный тем, как сблизились они за эту поездку, и тем, насколько более податливой и открытой теперь казалась ему Анджум. Он изучил многие ее невидимые привычки и ритмы, все бытовые наклонности, которые узнаешь, только если проводишь много времени с человеком — как меняется его настроение в зависимости от времени дня, количества сил, от пищеварения, окружения, — и начал осознавать, как выглядели бы более серьезные их отношения, какой была бы их общая жизнь с Анджум. За время совместных готовок и трапез, долгих прогулок, встреч с друзьями между ними установилась спокойная, почти домашняя близость; за три недели, проведенные в Бомбее, упоение и трансцендентность их делийских свиданий сменились нежным и терпеливым сосуществованием; их по-прежнему омывали непрестанные волны желания, но уже не лишая возможности участвовать во внешней жизни. Кришан по прошлым романам помнил, как стремительно угасает желание, едва люди привыкнут друг к другу, как быстро надежда на трансцендентность, с которой начинается влюбленность, сменяется ощущением защищенности и покоя, безопасностью привычки и сложив-

шегося порядка, но за недолгое пребывание в Бомбее он осознал, что домашняя близость вовсе не подразумевает утрату желания, что желание не притупляется, не умирает, но становится глубже, шире, а привычка его лишь усиливает, укрепляет, не заглушая: так стеклянный колпак защищает слабое пламя свечи, пропуская внутрь кислород, чтобы пламя горело.

О фильме они вспомнили лишь накануне отъезда из Бомбея, в последний свой полноценный день в городе, решили свернуть косячок и посмотреть, наконец, кино. Задернули занавески, поставили ноутбук на кровать между ними, зажгли косяк, включили фильм и, все глубже впадая в транс, наблюдали за событиями на экране. Они досмотрели кино до конца, молча прослушали музыку, заигравшую на титрах; когда фильм завершился, Анджум аккуратно закрыла ноутбук, оба молчали, не шевелились, не глядели друг на друга, как бывает в кинотеатре, когда по окончании сеанса в зале включается свет и не хочется смотреть на того, кто рядом, словно взглянуть на него означает признать мимолетность той жизни, в которую вы только что окунулись. Тебе понравилось, спросил Кришан, Анджум кивнула в ответ, фильм задел ее за жи-

вое, она поняла, чем он так тронул Кришана; они замолчали, по негласному соглашению решив еще немного побыть наедине со своими мыслями, дабы впечатление от фильма не развеялось. Небо уже становилось лавандово-золотистым, близились сумерки, вскоре пора выходить. Они решили в последний вечер пройти всю Маринд-райв, длинную С-образную дорогу вдоль крутого изгиба юго-западного побережья; эта дорога носила то же название, что и шоссе в Коломбо, близ которого Кришан жил в детстве, только была несравнимо величественнее. Они собрались, на поезде доехали до самой южной из станций маршрута, а оттуда на рикше до нижнего конца Марин-драйв. Солнце только что село, но бетон еще источал зной, они шли по широкой дороге, справа от них по шоссе проносились машины, сзади тянулись в монументальное небо жилые высотки, слева негромко плескалась вода о рукотворные камни и до самого горизонта раскинулся океан. Они болтали о разном, о чем именно, Кришан не помнил, глядели в пространство поверх толпы студентов, прохожих, парочек, любителей бега, пассажиров, спешащих на пригородный поезд, и лишь когда Кришан и Анджум миновали половину променада, речь снова зашла о фильме;

они присели на бетонный парапет, смотревший на океан, закурили, заговорили об отношениях между двумя героинями и о природе дружбы: каждая из девушек явно очень ее ценила, но упрямо не желала этого признавать.

Сцена у озера не выходит из головы, призналась Анджум, глядя в темнеющее небо, та самая сцена, в которой Пухал и Дхаршика заявили, что ради общего дела готовы убить друг друга. Анджум сочла, что Дхаршика сказала эти жестокие слова, дабы уязвить подругу: вероятно, Дхаршика таила на Пухал обиду и решила ей отомстить. Такие глубокие невысказанные обиды бывают лишь между людьми, которые очень любят друг друга, но при этом чувствуют, что способны причинить друг другу сильную боль; они нуждаются друг в друге, но упрямо этого не признают из боязни стать уязвимыми. Такая жестокость часто встречается в отношениях между близкими друзьями или членами семьи, когда люди зависят друг от друга, но при этом стесняют и ограничивают друг друга; такая жестокость — неотъемлемая часть отношений между любящими. Наблюдая за тем, как общались друг с другом Пухал и Дхаршика, Анджум невольно задавалась вопросом, не кроется ли за их дружбой нечто гораздо большее

— между дерзкой, самоуверенной и напористой Дхаршикой и мягкой дружелюбной Пухал, — нечто почти эротическое в том, как то бесстыдно, то кротко они встречаются взглядом, как ищут друг друга глазами, а потом отворачиваются. Анджум высказала это на едином дыхании, как ясную, совершенно оформившуюся мысль, которой она поделилась, лишь обстоятельно обдумав, по своему обыкновению; Кришана ее предположение удивило, ему такое никогда не пришло бы в голову, и он уточнил у Анджум, действительно ли она считает, что девушки крутят любовь, в чем лично он сомневается, учитывая строгости их военного быта. Анджум равнодушно пожала плечами, точно правдоподобие собственного истолкования ее ничуть не заботило, отвернулась и уставилась на океан, рассеянно теребя кольцо на среднем пальце. Этот фильм мне напомнил, сказала она, помолчав, древний сборник буддийских стихов, я недавно его прочитала, сборник составили между шестым и третьим веком до нашей эры буддийские монахини со всего субконтинента, потом перевели на пали, и с тех пор он бытует в традиции как отдельное сочинение. Авторы стихотворений принадлежали к разным слоям общества, были средь них

женщины и угнетенных, и высших каст, и служанки, и знатные дамы: все они почитали Будду и освобождение, которое ждало последователей его учения об избавлении от привязанностей. Некоторые стихотворения удивительно подробно описывали обстоятельства, приведшие к тому, что их авторы обратились к учению Будды; были средь них и незамужние женщины, укрывшиеся в монастыре, дабы избежать принудительного брака с немилым; были средь них и замужние женщины, искавшие в монастыре спасения от тягот домашней работы и от нежелательных сексуальных притязаний супругов — от того, что ныне назвали бы «изнасилованием в браке». Одни стремились избавиться от сексуального насилия, которое над ними изо дня в день чинили мужчины из высших каст, другие стремились избавиться от немилосердного пыла собственного мощного либидо и неуправляемого полового влечения — остужали страсти буддизмом. Многие женщины, продолжала Анджум, становились монахинями, чтобы избыть горе из-за безвременной смерти дочери или сына, брата или сестры; учение Будды о смерти оказывалось единственным утешением, помогавшим осмыслить их муки. Иными словами, две тысячи пятьсот лет назад все

эти женщины оставили свои дома и семьи, дабы снискать в монашестве свободу от общества, в котором они родились, и это напомнило Анджум историю Пухал и Дхаршики, а равно и прочих женщин, вступивших в ряды «Черных тигров». Подобно буддийским монахиням, из-за пережитого несчастья они отказались от привязанности к собственному телу, подобно монахиням, они присоединились к движению за свободу, движению, которое, как и буддизм, основал и возглавил мужчина, движению, посулившему, как им казалось, не только возможность освободиться от властей Шри-Ланки, но и по-настоящему, немедленно освободиться от ожиданий и тенет общества, в котором они росли.

Кришан понимал, что сравнение, сделанное Анджум, отчасти справедливо, ведь он не раз видел интервью с женщинами, служившими в рядах «Тигров», и эти женщины признавали, что «Тигры» помогли им избавиться от патриархата, свойственного тамильскому обществу; он не раз читал о том, что многие из этих женщин так или иначе подвергались насилию со стороны мужчин, служивших в оккупационных войсках, что даже ту смертницу, которая в 1991-м убила

премьер-министра Индии 1[23], в юности изнасиловали индийские солдаты, стоявшие в Джаффне. Анджум рассуждала с уверенностью, за которой явно скрывалось нечто большее, точно она полагала, что ей Пухал и Дхаршика ближе, чем Кришану, точно, невольно почуял Кришан, она стремилась присвоить то личное, что он пытался сообщить ей о себе. Такое отношение Анджум смутило его, хотя он сознавал, что отчасти оно оправданно, и не только потому, что Пухал и Дхаршика, возможно, как и Анджум, стремились к чему-то за пределами гетеросексуальности, но, что важнее, потому что они, как и Анджум (но не Кришан), в силу убеждений избрали путь, требовавший отречься от обыденной жизни, оборвать все связи с родными и обществом, дабы целиком и полностью посвятить себя делу. Кришан вспомнил, что в присутствии посторонних Анджум старалась не прикасаться к нему и представляла его всегда как друга из Дели — все это, казалось бы, она проделывала ненамеренно, без определенной цели, однако в такие моменты Кришан неизменно понимал, что не вправе принимать их отношения как должное, что вскоре ей захочется

[23] Примечания: 23
Речь о Радживе Ганди (1944–1991).

уйти, а значит, и вместе им больше не быть. Разумеется, он и так все это знал, потому и тревожился с момента знакомства с Анджум, но в эти три недели он ухитрялся не думать об этом, прятался от этих мыслей за установившейся между ними родственной близостью и спокойствием. На это и намекнула Анджум, сравнив себя с Дхаршикой и Пухал, догадался Кришан, рассматривая ее задумчивое, почти мечтательное лицо — не угрюмое (хмуриться было не в привычках Анджум), но милое и сияющее: она явно надеялась, что Кришану хватит смекалки понять, к чему она клонит, и ей не придется утруждать себя откровенными объяснениями. В их последний вечер в Бомбее Анджум попыталась мягко напомнить ему, что она не такая, как он, ее жизненный путь уже предопределен, а ему нужно найти свой, и в это мгновение, отвернувшись к волнующемуся во мраке морю, Кришан с неизбежностью осознал, что им придется расстаться, будто в его сознании вдруг произошел тектонический сдвиг, и этот сдвиг вселил в него не тревогу и не отчаяние, как бывало прежде, а молчаливую убежденность, что и перед ним простирается путь, что и у него есть своя история и судьба. Именно в этот вечер, сидя подле Анджум — за спиною Бомбей,

впереди океан, — Кришан, без малого семь лет, почти всю свою взрослую жизнь проведший в Индии, впервые подумал о том, чтобы вернуться на родину, оставить исследования и планы, связанные с научной карьерой, и посвятить себя работе на северо-востоке; эта мысль, несомненно, уже вызревала в его уме под влиянием не только интереса к войне, но и отношений с Анджум, примера ее жизни, подчиненной мечте об ином мире. Кришан опечалился — не столько от неминуемого расставания с Анджум, сколько с жизнью, к которой привык и в которой ему уютно, — но сильнее этой печали было предвкушение, вдруг охватившее все его существо, предвкушение, сопряженное с отказом от себя, с подчинением высшей цели, с возможностью забыть о сложностях, связанных с любовью к той, кто не может быть с ним, и посвятить себя строительству нового мира, того мира, который подарит ему ту же свободу, какую он чувствовал с Анджум, но без отчаяния и печали, мира, который отберет его у той, кого он любит, но в то же время и сблизит их.

Они молча докурили и все так же в задумчивости побрели дальше по Марин-драйв. И хотя ничего особенного не произошло, и хотя о филь-

ме они разговаривали отвлеченно, вне всякой связи со своими взаимоотношениями, казалось, оба чувствовали, что достигли некой поворотной точки. Словно события, начавшиеся пять месяцев тому назад, когда Анджум и Кришан встретились взглядом, теперь подошли к концу; быть может, повинуясь этому чувству, они впервые за все это время взялись за руки, но не крепко, ладонь в ладонь, а свободно и нежно переплели мизинцы. Стемнело, тротуар озаряло сияние высоких уличных натриевых фонарей вдоль тянувшегося справа шоссе, слева в теплой ночи мерцало море, отраженное свечение города колыхалось в его волнах. Справа вдоль изгиба берега уходили вдаль многоэтажки, образуя линию горизонта, — первая из бесконечных линий зданий, составлявших остров Бомбей, зданий, в крошечных ячейках которых теснились десятки миллионов борющихся и страдающих людей со всей страны, такая богатая и густая концентрация человеческих жизней, что в существование подобного места невозможно поверить, пока не увидишь его своими глазами. Кришан и Анджум шли, держась за руки, и казалось, будто бы перед ними кристаллизуются две противоречащие друг другу возможности освобождения, какие сулит

земное бытие: с одной стороны, возможность, которую чувствуешь всякий раз, как сталкиваешься с огромным числом людей, живущих в одном месте, возможность отыскать среди этих миллионов одного или нескольких человек, с кем будешь счастлив; с другой стороны, возможность, которую чувствуешь всякий раз, как вглядываешься в бескрайний, бессветный простор ночного моря, — возможность освобождения, связанная с забвением, с отсечением связей, с путешествием в неизведанное. Кришан крепче сжал руку Анджум, она взглянула на него, он посмотрел на нее, на ее высокую грациозную фигуру в изжелта-серебристом ореоле города, и она показалась ему такой же, как в первую встречу и как в ту ночь в поезде, когда за окном проносилась во мраке сельская местность, — такой же печальной, страстной и убежденной: в этот миг Кришан был уверен, что никогда ее не забудет. Он не сводил глаз с Анджум, с ее строгого профиля, с ее ранимого взгляда, он буквально чувствовал, как ее образ проникает в его зрачки, осторожно отпечатывается на сетчатке и останется там навсегда, точно тень или калька, сквозь которую он отныне будет смотреть на все. Может быть, и поэтому, подумал тогда Кришан, с годами сла-

беет зрение — не от старости, не от болезней, не оттого, что портится роговица, хрусталики или те безупречно отрегулированные мускулы, которые их контролируют, а потому что такие вот образы копятся за время краткого земного бытия, образы великой красоты проникают в глаза и накладываются на все, что видишь после, так что со временем все труднее видеть и замечать окружающий мир, хотя, пожалуй — теперь, проведя четыре года на родине, Кришан это осознавал, шагая в хвосте похоронной процессии к месту сожжения за гробом Рани, той самой Рани, что видела много такого, чего не сумела забыть, — хотя, пожалуй, тогда, в Бомбее, он был наивен, пожалуй, со временем наше зрение туманят не только образы красоты, но и образы зверств, насилия (а его мгновения для некоторых людей такая же часть жизни, как мгновения красоты): те и другие образы появляются, когда мы меньше всего ожидаем, и преследуют нас потом, те и другие оставляют на нас отметину или клеймо, ограничивая остроту наших глаз.

10

Озеро осталось позади, и чем дальше они от него уходили, тем сильнее скудела растительность, тянувшаяся вдоль дороги, тем более пыльными, бурыми становились заросли кустов и корявых деревьев, господствовавших в пейзаже отсюда и до деревни. Они шли уже с полчаса, по бокам и спине Кришана струился пот, тело отяжелело, сделалось неуклюжим, хотя он не тащил носилки. Кришан знал, что места сожжения трупов обычно располагаются на значительном расстоянии от деревень — видимо, потому что похоронные обряды и те, кто их отправляет, дабы заработать себе на жизнь, считаются нечистыми, — но сейчас ему вдруг пришло в голову, что удаленность места кремации от деревни, быть может, связана и с гореванием: долгий путь помогает внушить родственникам, несущим тело усопшего и горшок, более отчетливое ощущение материальности их утраты. Кришан двигался в прежнем медленном ровном темпе, высчитывая в уме, насколько они уже удалились от деревни, чтобы, если придется, найти обратный путь в одиночку, и не сразу заметил справа обширный

участок за серой оградой из разрушающихся шлакобетонных блоков — сквозь дыру в заборе виднелась земля, заросшая кустарником и бурьяном. Возглавившие процессию четверо барабанщиков — они по-прежнему выбивали негромкую дробь — зашли в ворота, а следом и гробоносцы; Кришан догадался, что на этом огороженном участке, практически неотличимом от окружающего пейзажа, сельчане сжигают трупы. Ему прежде не доводилось посещать такие места на северо-востоке, только в Коломбо, но там, помимо павильона для сожжения тел, обычно располагались участки с мусульманскими и христианскими могилами, так что места кремации не казались такими пустынными. Здесь же, напротив, не было ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к человеку, и только на пятачке близ середины участка, очищенном от растительности, торчал невысокий, практически вровень с землей, прямоугольный бетонный помост — единственное постоянное сооружение. По углам помоста высились четыре толстых железных прута, в их пределах устраивали погребальные костры: на помосте уже лежала куча неровно порубленных дров высотой в два-три фута. Чуть поодаль на земле дожидались предме-

ты, необходимые для кремации, — вторая охапка дров, сухой пальмовый лист, мешок сена, бутыль керосина и еще какие-то мелочи. Распорядитель направил гробоносцев с носилками к центру участка, чтобы они опустили гроб на помост, им помогали прочие члены процессии; сперва на помост поставили передний край гроба, потом задний, так что в конце концов он целиком встал на дрова. Барабанщики, продолжая выбивать негромкую дробь, отошли в сторону, невозмутимые, как и прежде, в доме усопшей, остальные мужчины столпились с другого края, родственники ближе к помосту, прочие чуть поодаль. Распорядитель открыл гроб, тело Рани вновь увидело дневной свет, лицо ее по-прежнему было призрачно-бледным, глаза плотно закрыты, на груди венки из цветов. Вместе с помощником распорядитель убрал венки — видимо, чтобы цветы не мешали телу гореть, — обеими руками снимал их один за другим и аккуратно складывал на землю возле помоста. Потом взял длинный изогнутый нож, похожий на серп, разрезал нить, скреплявшую большие пальцы ног Рани, разъединил ее ступни, потом ладони — видимо, тоже для того, чтобы лучше горели. Затем распорядитель с помощником стали носить поленья из

лежавшей на земле кучи дров и складывать их осторожно, даже благоговейно, на тело Рани, так что в конце концов оно почти скрылось из глаз и, глядя на гроб, трудно было сказать, зачем понадобились эти дрова — то ли для того, чтобы тело лучше горело, то ли чтобы уберечь наблюдателей от вида огня, пожирающего труп, от жуткого зрелища того, как человек превращается в минерал.

Распорядитель подозвал зятя Рани, он, по-прежнему с глиняным горшком на плече, ждал близ костра, наблюдая за приготовлениями; зять послушно приблизился к изголовью гроба. Распорядитель сунул ему короткий факел из сандалового дерева, наполовину уже сгоревший, зять Рани сжал факел правой рукой и отвел ее за спину, так что горящий конец факела смотрел в противоположную от гроба сторону. Распорядитель подхватил изогнутый нож, встал позади зятя Рани, тот стоял неподвижно, как посетитель цирюльни, которого сейчас будут брить, хоть и заметно нервничал. Распорядитель взял нож не за рукоять, а за лезвие, нацелился в основание горшка и ударил по нему острием ножа, проделав маленькую ровную трещину, из которой теперь струилась вода. Барабанщики застучали резче, громче, зять Рани по наказу распорядителя

торжественно и осторожно обошел вокруг гроба против часовой стрелки, с горшком на левом плече и факелом в правой руке. Распорядитель шел следом, правой рукой шлепая по воде, сочившейся из горшка, и разбрызгивая ее в сторону от гроба, — жест, смысла которого Кришан толком не понял. Едва зять Рани описал один круг вокруг усопшей, как распорядитель велел ему остановиться в изголовье гроба, снова взял нож, ударил по горшку, на этот раз чуть выше, и проделал вторую дыру, так что струйка воды усилилась и омочила землю под ногами зятя Рани, а он второй раз направился вокруг гроба. Кришан обратил внимание на зятя Рани, еще когда гроб стоял в доме, и сейчас поразился тому, как плавно он выступает в мягком вечернем свете, как красив его торс, смуглый и мускулистый, перечеркнутый белой нитью, какая широкая у него грудь и плечи. Кришан заметил, что вся спина у него исполосована шрамами, и от этого стоическая, грациозная его осанка производила еще большее впечатление; по горшку ударили третий раз, зять Рани в третий раз направился вокруг гроба, и Кришан подумал, что, наверное, эти шрамы оставили на его спине уже после войны солдаты правительственных войск: зятю Рани в ту пору было лет

двадцать с небольшим, а к мужчинам его возраста относились с подозрением независимо от того, были они связаны с «Тиграми» или нет. Едва зять Рани описал третий круг, распорядитель остановил его в изголовье гроба, развернул его спиной к усопшей и велел, не оборачиваясь, разбить горшок и разжечь погребальный костер. Зять Рани замялся, словно горшок, который он нес от самого дома, за это время стал ему дорог, но потом бросил горшок перед собой, тот с глухим стуком упал и разбился, вода хлынула на сухую землю. Все так же не глядя на гроб, зять Рани неловко направил к нему горящий факел, нащупал дрова и отпустил факел. Костер не загорелся, но в этом не было ничего необычного: обязанность родственника разжечь погребальный костер — не более чем символическая традиция, так что распорядитель велел зятю Рани отойти от костра, разрезал нить на его груди и положил ее в ноги усопшей. Потом открыл упаковку камфорных таблеток, бросил несколько штук на землю и протянул зятю Рани спички. Тот присел на корточки рядом с костром, чиркнул спичкой, поджег таблетки, потом лег на живот, растянулся на пыльной земле перед пламенем, распростерся в последний раз перед Рани. Неторопливо поднялся, по-прежнему не

поворачиваясь лицом к гробу, и направился прочь от костра, к выходу из ограды. Послышалось шарканье, Кришан обернулся и увидел, что кое-кто из мужчин пошел следом за зятем Рани. Кришан вспомнил, что смотреть, как сжигают труп, считается делом нечистым, но не хотел оставлять Рани до того, как костер разгорится, ему показалось нелепостью уходить раньше времени, проделав столь долгий путь; Кришан огляделся, заметил, что некоторые мужчины по-прежнему стоят, заложив руки за спину, и не думают уходить, пока тело не будет сожжено, и вновь устремил взгляд на костер.

Распорядитель тем временем доставал из мешка сено и засовывал его в отверстия и щели между дровами, лежащими сверху и снизу, так что в конце концов покойница скрылась из виду. Затем надорвал белый атлас обивки с испода крышки, обнажив дерево, обеими руками взял сухой пальмовый лист за черешок и сунул его в костер. Чиркнул спичкой, поднес ее к листовой пластине, очутившейся меж поленьев, зажег с нескольких сторон и раздул занявшееся пламя. Кришан два дня как узнал о смерти Рани, два часа как увидел ее бездыханное тело и прикоснулся к нему, но только сейчас, глядя, как распорядитель

разжигает костер, полностью осознал, что Рани вот-вот исчезнет, что ее, по сути, уже нет. Только сейчас он начал осознавать, что все так и будет: тело сгорит, займется сначала сено, потом дрова, пламя охватит гроб, затем кожу усопшей, следом внутренности. Кришан знал, что первыми сгорят волосы, растрепанные непокорные волосы Рани, после ее смерти их причесали и усмирили, затем сгорят ресницы, волосы под мышками, на руках и ногах, потом займется то, что мягче, нежнее — губы, глаза, кожа (все это, наверное, сперва расплавится, потом сгорит). Распорядителю удалось развести под гробом небольшой огонь, пальмовый лист и сено дружно горели, травинки чернели и скукоживались в пламени, и хотя огонь еще не перекинулся на дрова, не коснулся гроба, Кришан чувствовал своим телом то, что́ вот-вот случится с телом Рани. Он представил, как будут гореть ее глаза, такие мягкие, слабые, как расплавятся веки, как хрусталики и радужная оболочка растворятся в кипятке из слезных желез, как свернется сетчатка, а с нею и образы, отпечатавшиеся за всю жизнь, образы красоты и насилия, накладывавшиеся на все, что видела Рани. Пламя под гробом распространялось медленно, равномерно, потрескивало сеном и

щепками на поверхности дров, пожирало сухой лист пальмы, выплевывая угольки, и Кришан подумал, что если в теле Рани еще сохранялись остатки памяти или сознания, их тоже вот-вот не станет. Не о том ли она втайне мечтала все время в Коломбо, задавался вопросом Кришан: чтобы все ее мысли и чувства растаяли без следа, чтобы сознание отключилось — чего ей, в отличие от большинства людей, никак не удавалось добиться ни во сне, ни после отупляющего количества снотворного и прочих лекарств, какие она принимала. Отключить сознание ей не удавалось и с помощью шоковой терапии — ни после общей анестезии, ни после электрических разрядов в мозг; ей не удавалось его отключить, как ни старалась она причинить себе вред в надежде, что сильная физическая боль — а обычно она отключает все ощущения, кроме тех, что связаны с ушибом или порезом, сводит весь мир к точке на теле, не оставляя возможности заметить или осмыслить что-то еще, — позволит забыть боль иную, менее осязаемую, но более глубокую.

Неважно, была ли смерть Рани запланированной или случайной, вдруг понял Кришан: ни к чему разграничивать два эти вида смерти, и смерть намеренная не нуждается в тщательном

плане. Порой достаточно смутного желания покончить с собой, и вот уже человек не так внимательно смотрит по сторонам, когда переходит дорогу, или высовывается на ходу из двери поезда, не так осторожно зажигает фейерверк или чинит дырявую крышу; порой достаточно смутной тяги к забвению, чтобы линия, отделяющая смерть случайную от запланированной, смазалась, расплылась, чтобы смерть оказалась чем-то таким, к чему усопшего подтолкнули. Мысль о том, что Рани влекло к такой смерти, казалась Кришану все более правдоподобной, пусть даже у него и не было доказательств, кроме горечи в голосе ее дочери, сожалевшей, что Рани уехала из Коломбо, пусть даже ее дочь явно не задумывалась о том, что Рани мечтала о смерти. За шесть лет, что прошли после гибели ее сыновей, Рани так и не оправилась от утраты, как ни старалась сама, как ни старались все, кто ее знал; вполне естественно, что после стольких лет и усилий смерть, то есть полное, необратимое отключение сознания, в некоем первобытном, инстинктивном смысле представлялась ей единственною возможностью достичь желаемого забвения. При мысли об этом Кришан уже не терзался чувством вины; пообщавшись, пусть и недолго, с дочерью

Рани, он осознал, что ни он, ни его мать с бабкой ни в чем не виноваты: не они послужили причиной гибели Рани, да и не сумели бы ее предотвратить. Участь Рани была предрешена задолго до того, как пути их пересеклись — еще в конце войны, когда осколок шрапнели убил ее младшего сына: казалось, в тот день ее саму проткнул осколок того же снаряда, но впился не в кожу, а в глаз, мелкий, коварный осколок иглою пронзил зрачок, с годами все глубже проникал в ее тело и в конце концов стал причиной смерти. Кришан не столько мучился чувством вины, сколько дивился тому, что делил кров с таким человеком, что их жизни, столь отличные друг от друга качеством и течением, шли параллельно, что Рани так долго была частью их жизни, однако он не предвидел того, что ныне стало ему очевидно, неизбежного конца траектории, по которой она молчаливо двигалась, — хотя, пожалуй, подобные траектории замечаешь всегда слишком поздно, когда все уже кончено, пожалуй, они кажутся неизбежными или необходимыми лишь по прошествии времени, став неотъемлемой частью нового, более трезвого понимания жизни.

Глядя на то, как занимаются дрова под гробом, как пламя распространяется из середины костра,

как медленно догорает длинный стебель пальмового листа, Кришан вспомнил разговор с Рани в Новый год. Кришан тогда еще жил и работал на северо-востоке, но на праздник вернулся в Коломбо и планировал пойти тусоваться, не столько потому, что любил Новый год, сколько из желания напиться с друзьями после нескольких месяцев трезвости в Джаффне; в состоянии повышенной восприимчивости ему хотелось побыть среди сверстников, вдобавок его, как всегда в таких ситуациях, соблазняла возможность с кем-нибудь познакомиться. Он рассчитывал поужинать и выпить с друзьями, после чего они все вместе отправятся на вечеринку, куда их пригласили; в тот вечер Кришан раньше обычного зашел к бабке пожелать спокойной ночи. Аппамма и Рани как раз закончили ужинать и увлеченно смотрели новости, слушали рассказ ведущего о том, как Коломбо готовится к празднику; на цифровом заднике за спиною ведущего бесшумно летел снег, и декорации эти выглядели тем нелепее, что год был засушливый. Затем показали видеообращения президента и премьер-министра, они пожелали ланкийцам всего лучшего в новом году, фрагменты их поздравлений канал продублировал на тамильском, далее

показали салюты, празднества в Сиднее, Токио и Пекине, там новый год уже наступил. Какие планы на вечер, поинтересовалась у внука аппамма, во сколько вернешься; пока не знаю, ответил он раз в третий или четвертый, зависит от того, чем мы займемся с друзьями, но, вероятно, поздно. Кришан спросил Рани, отмечают ли на севере Новый год, спросил не из любопытства, а скорее, чтобы поддержать беседу, он знал, что для большинства обитателей севера Шри-Ланки новый год начинается не в январе, а в середине апреля, по тамильскому календарю. Некоторые да, ответила Рани, все-таки государственный праздник, но мои знакомые его не отмечают — по крайней мере, так, как здесь, в Коломбо. Слушая ее ответ, Кришан вдруг подумал, что Рани, возможно, захочется посмотреть салют на Голл-Фейс, быть может, ей даже понравится эта сторона жизни Коломбо, которую она больше нигде не увидит. Он помнил, что Рани не любит куда-то ходить, но на Голл-Фейс по какой-то причине всегда бывало много мусульманских и тамильских семейств, так что Рани бояться нечего, да и Кришан будет рядом. Конечно, ему придется поменять планы на вечер, но он все равно, толком не подумав, спросил у Рани, не хочет ли она вместе с ним

посмотреть салют, пообещал зайти за ней незадолго до полуночи, а потом проводить ее домой. Вы увидите все своими глазами, продолжал Кришан, вдобавок там будет большой экран, вы ведь такого, наверное, еще не видели, добавил он и наконец сообразил, что громкий смех и крики на сингальском, внезапные, хаотичные выстрелы фейерверков на Голл-Фейс наверняка напомнят Рани конец войны. Рани улыбнулась, давая понять, что благодарна Кришану, но от предложения отказалась: они-де с аппаммой планируют вечером смотреть фильм. Кришан с удивлением воззрился на аппамму, точно спрашивая, правда ли это, и бабка кивнула: не у тебя одного планы на вечер, нам тоже есть чем заняться. В честь Нового года будет специальный сеанс, пояснила Рани, в полночь покажут новый фильм с Виджаем[24], премьера, его пока что крутят только в кинотеатрах. Кришан с шуточным неодобрением покачал головой, словно позавидовал их планам, ему-то ведь не удастся посмотреть вместе с ними кино, улыбнулся, поднялся, чмокнул обеих в щеку и попрощался — с облегчением оттого, что от его предложения отказались, но и с радостью, что у

[24] Примечания: 24

Джозеф Виджай Чандрасекхар (род. 1974) — индийский актер, звезда тамильского кинематографа.

Рани и аппаммы свои виды на Новый год.

Кришан же, как и планировал, поужинал в гостях, напился, выкурил косяк, после чего вместе с друзьями отправился на вечеринку; он заранее знал, что вряд ли там познакомится с кем-нибудь мыслящим или же интересным, но все равно стремился туда: возможность флирта, а то и близости, слишком его манила, чтобы он замечал более неприглядные их стороны. Подробностей той ночи он уже и не помнил, в квартире было шумно, дымно, людно, гости в основном были англоязычные, в возрасте от двадцати до тридцати с небольшим, либеральные люди, которые говорят либеральные вещи, однако смущаются, если чьи-то особенности или традиции заявляют о себе чересчур явно. Все пили, курили, болтали, к полуночи переместились на крышу смотреть салют, а когда тот закончился, не сразу вернулись в квартиру, но потом все же ушли; разделив друг с другом сокровенный момент перехода, гости общались свободнее, непринужденнее. Музыка стала громче, перемещения и разговоры оживились, гости пьянели, все больше народу плясало, после полуночи прибыли новые гости, встречавшие Новый год в других местах, пепельницы наполнялись, множились пустые бутылки

и стаканы. К половине пятого задор иссяк, гости принялись расходиться — сперва парочки, потом небольшими группами и все прочие; Кришан с трудом подавил разочарование, всегда охватывавшее его в самом конце вечеринок, когда до него доходило, что обещания, с которых начался вечер, уже не сбудутся. С ним оставались двое его друзей, все трое в хлам, ночь напролет курили косяк за косяком; домой возвращаться еще не хотелось, но и злоупотреблять гостеприимством было неловко, и они решили напоследок выкурить косячок и пройтись по Голл-Фейс: там, скорее всего, еще гуляют, там можно болтать сколько заблагорассудится. Помыкавшись по окрестностям, они наконец поймали рикшу, приехали на Голл-Фейс и с облегчением увидели, что там действительно еще гуляют, людей на широких и длинных газонах уже не так много, как ночью, но они все-таки есть, в основном компании мальчишек и юношей, которые, позабыв обо всем, танцуют под музыку, гремящую из колонок, но, как ни странно, было и много семей, матери и отцы, дети — и совсем малыши, и постарше, — бабушки и дедушки мирно расположились на принесенных из дома циновках, одни разговаривали, пили чай или кофе, другие лежа-

ли, дремали. На траве валялся мусор, оставшийся после ночи, — объедки, обертки от мороженого, пустые пластиковые бутылки, обгоревшие фейерверки, — но в конце концов Кришан с друзьями отыскали относительно чистое место и удобно уселись в кружок. Они курили и разговаривали под бескрайним беззвездным небом, соленый морской бриз холодил их усталую кожу, занималась заря, гуляющие расходились, безмолвно вставало солнце. Отяжелев от выпивки, косяков и разговоров ночь напролет, друзья вскоре умолкли и, погрузившись в колебание тяжелых мыслей, смотрели на невозмутимое январское море, проступавшее в бледном утреннем свете.

Кришан сознавал, что надо идти домой, горло саднило от выкуренных сигарет, бодрствовать дальше уже не имело смысла, но при мысли о том, что пора уходить, его охватывало беспокойство, нежелание признавать, что ночь завершается, и он уговорил друзей посидеть еще немного: мы-де давно дружим, да и мне потом уезжать. Разумеется, нет ничего необычного в нежелании возвращаться домой, когда ты подвыпил, но не нагулялся, и не только в Новый год, а вообще с любой вечеринки, но, вспоминая сейчас то раннее утро на Голл-Фейс, Кришан недоумевал, почему

ему всегда тяжело заканчивать такие ночи, если только он не падает от усталости и вернуться домой уже просто необходимо. И так бывает не только когда он гуляет с друзьями, ему трудно улечься спать, даже если он трезвый и дома, ему никак не удается загнать себя в кровать, точно он боится дать слабину, признать свое поражение, точно, если он продолжит бодрствовать, случится нечто такое, что искупит прожитый день. В Дели, где у него, как правило, не было жесткого графика, он замечал, что из вечера в вечер ложится все позже и позже, все позже и позже просыпается по утрам; Кришан пытался это исправить, вставал раньше в надежде, что вечером от усталости его раньше сморит, но, как ни старался соблюдать режим дня, та же история повторялась. На северо-востоке ему более-менее удалось разрушить этот шаблон: Кришан так выматывался на работе, что домой приползал, мечтая скорее уснуть, но стоило ему перебраться в Коломбо, и он снова стал засиживаться допоздна, хоть и вставал рано, из-за чего в будни постоянно недосыпал и в выходные наверстывал. Кришан часто дивился тем, у кого практически без усилий и дисциплинарных строгостей получалось вставать и ложиться в одно и то же время, точно они от природы жили

в согласии с вращением Земли, Солнца, Луны, точно движение их тел пребывало в своего рода внутренней гармонии или единении с телами солнечной системы. Словно желание, каждое утро влекущее человека в большой мир в надежде добиться пусть маленького, но успеха, или даже совершить выдающееся открытие, нейтрализуется разочарованием и борьбой, без которой немыслима жизнь, словно у большинства в конце каждого дня усталость равняется желаниям или превышает их, так что в определенный момент вечера эти люди смиряются с необходимостью прекратить поиски, возвращаются в уют своего дома, наконец поддаются сну, уступают его реальности. Словно стремление, двигавшее Кришаном почти всю жизнь, было сильнее и неотступнее, нежели у большинства его знакомых, и сопротивлялось сильнее, прежде чем отступить, словно тело его было приспособлено для суток, в которых не двадцать четыре часа, а двадцать пять или двадцать шесть, так что ему и прочим таким, как он, невольно чуял Кришан, требовалась ни много ни мало планета большей окружности — планета, вращение которой отвечает его внутренним ритмам.

С друзьями он распрощался часов в семь, в по-

ловину восьмого, новый год уже давным-давно наступил, Кришан вернулся домой и прокрался к себе, стараясь не шуметь, чтобы в таком забубенном виде не попасться на глаза матери. В комнате он разделся — вещи его насквозь пропитались стоялым, затхлым табачным дымом, — пошел прямиком в душ, постоял под прохладной водой. Выключив воду, услышал, как бабкина дверь открылась и вновь закрылась, как Рани сообщила аппамме, что принесла чай; Кришан подумал, что если ляжет сейчас, проснется только к обеду, и счел, что лучше с утра пораньше поздравить аппамму и Рани с Новым годом, вытерся, оделся в чистое и направился к бабке в комнату. Аппамма и Рани молча пили чай, Рани сидела в кресле, аппамма на краю кровати, Кришан расцеловал их в обе щеки и пожелал счастья в новом году. Аппамма решила, что он накануне вернулся рано и сейчас встал, но Кришан объяснил, что только пришел домой, еще не ложился, и спросил, как им фильм, досмотрели ли до конца. Рани с шутливой улыбкой взглянула на аппамму и ответила, что та уснула через пять минут после начала фильма. Аппамма тут же ей возразила с негодованием и смущением: я-де умаялась, накануне всю ночь не спала, да и не нравятся мне эти новые индийские

фильмы, я посмотрела начало и сразу поняла, что лучше лечь спать. А вы тоже легли, не стали досматривать, поинтересовался Кришан у Рани, решив, что та наверняка огорчилась из-за того, что аппамма нарушила их планы, но Рани с улыбкой покачала головой и сказала, что выключила свет и досмотрела фильм до конца, а звук убрала, чтобы не разбудить аппамму. Убрала или убавила, уточнил Кришан, сочтя ее последние слова преувеличением, убрала, ответила Рани, смотрела кино без звука, — и пожала плечами, будто в этом нет ничего странного. Как же вы смотрели, если не слышали текст, ведь ничего не понятно, удивился Кришан, ему не верилось, что Рани просидела два с половиной часа перед безмолвствующим экраном, следить за сюжетом не так уж и трудно, пояснила Рани, ведь по лицам героев обычно понятно, что они чувствуют.

Кришан еще чуть-чуть поболтал с аппаммой и Рани, потом пошел поздравить мать с Новым годом и вернулся к себе, но заснуть не сумел, хоть глаза и слипались, хоть и кружилась голова. Кришан, зажмурясь, лежал на спине и думал о том, что сказала Рани, представлял, как она сидит перед телевизором в тихой комнате, вокруг темно, лишь на экране мелькают фигуры и тени дрожат

на стене. Такое уже было несколько месяцев назад: Кришан зашел к аппамме и увидел, что Рани в одиночку смотрит фильм, правда, тогда телевизор орал на полную громкость, на экране разворачивалась неправдоподобно драматичная сцена — не то похищение, не то вооруженное нападение. Кришан постоял, посмотрел, потом спросил у Рани, в чем дело, из-за чего на экране творятся такие ужасы, Рани смущенно взглянула на него, помявшись, ответила, что сама не знает, попыталась объяснить, в чем там суть, но получилось невнятно. И Кришан догадался, что Рани, хоть и сидит перед телевизором, толком его не смотрит, точно образы и звуки, которые он транслирует, не имеют ни смысла, ни связи друг с другом. И с тех пор всякий раз, застав Рани перед телевизором, Кришан гадал, смотрит ли она его; тот факт, что накануне Рани посмотрела весь фильм без звука, лишь подтвердил его подозрения: невозможно следить за сюжетом, не слыша реплик актеров и тем более музыки, ведь в таких фильмах именно музыка создает эмоциональную окраску, подсказывает зрителям, как им реагировать на определенную сцену — печалиться ли, надеяться, тревожиться или бояться. Вряд ли Рани сумела понять сюжет, почему про-

изошло то или иное событие и чем это чревато для персонажей, и если она действительно была готова смотреть кино без звука, значит, ни его логика, ни смысл для нее не имели значения, то есть она, в отличие от обычных зрителей, не желала и не могла прочувствовать фильм. Чтобы сопереживать персонажам, нужно слышать, что происходит, а смотреть кино, не слыша, значит воспринимать его вчуже, наблюдать за движущимися красками и фигурами, как наблюдают за облаками, плывущими в небе, или за рябью на поверхности озера. При желании мы устремляем взгляд вдаль, на то, что никак с нами не связано и не может на нас повлиять, но слышим мы только то, что поблизости, что способно на нас повлиять: звук, в отличие от зрительных образов, связан с непосредственным присутствием, с возможностью взаимодействия. Потому-то в фильмах и книгах призраки, духи, фантомы обычно являются нам молчаливо, мы их видим, но не слышим, и они нас видят, но ничего не могут сказать: авторы книг и фильмов тем самым хотят показать, что, хотя эти сущности в каком-то смысле и явлены нам, они лишены возможности участвовать в жизни, неспособны действовать и влиять на нас, подобно тому, как и мы в каком-то смысле явле-

ны им, но не можем проникнуть в мир, где они существуют. Кришан не знал, каково это — жить вот так, видеть, но не слышать, и понимать, что тебя тоже видят, но не слышат, однако, глядя на то, как разгорается пламя под гробом, он не мог отделаться от ощущения, что после войны Рани жила именно так — жизнью, в которой уже не было ее любимых и в которой она поэтому не желала участвовать, существовала, скорее, как призрак, не как человек, пусть и в теле, обладающем весом и физически перемещающемся в пространстве, пусть даже по-прежнему способна была на боль и любовь, на смех и на щедрость, пусть даже каждому, кто ее видел, было ясно: душа в ней жива.

Кришан наблюдал, точно завороженный, как пламя все больше и больше охватывает помост, дрова трещат и трескаются от жара, огонь лижет днище гроба, клубится густой темный дым. Распорядитель время от времени подкладывал сено в костер, ножом поправлял, подвигал поленья, но и он уже больше смотрел, чем участвовал в процессе, наблюдал за тем, как пламя горит по собственному почину, точно осознало, что оно существует, и теперь поддерживает в себе жизнь. Стоявший рядом с Кришаном развернулся и на-

правился к выходу, Кришан огляделся и увидел, что, кроме него и распорядителя с помощником, у костра никого не осталось, вся процессия разошлась. Кришан понимал, что и ему пора, смеркалось, был, наверное, час шестой, если не позже, и возвращаться в деревню в темноте ему не хотелось. Однако он стоял как вкопанный, пламя лизало изножье гроба, деревянные его бока обуглились, задымились, загорелись поленья, лежавшие на ногах Рани. Распорядитель взялся за край стебля горящего пальмового листа, вытащил его из-под гроба и сунул в дрова над трупом. Потом взял бутыль керосина, полил им дрова, точно ему не терпелось сжечь гроб, собрал оставшееся сено и распихал куда мог. Огонь приближался к телу, оно пока что не занялось (впрочем, его не было видно), но Кришану казалось, он слышит, как пламя подступает к Рани, как оно шипит и трещит. От этих звуков его вдруг охватила тревога, ему не давало покоя, что Рани молчит, хотя вокруг нее бушует пламя, что сам он бездействует (хотя что он мог сделать?); Кришан поймал взгляд распорядителя и отступил от костра. Наверное, нужно на прощанье как-то выказать уважение Рани, подумал Кришан, но, не желая показаться глупым, развернулся

и не спеша направился прочь. Треск пламени постепенно стихал вдали, и Кришана охватило спокойствие, словно то, что происходило позади него, уже неслышимое, происходило в другом мире или пространстве, и лишь добравшись до выхода, движимый любопытством, напоследок он обернулся.

Костер, издали казавшийся куда меньше, горел ярко и плотно посередине участка, темно-янтарный в сгущавшихся сумерках, клубы дыма растворялись в воздухе. Голубой горизонт за оградой уже посерел, окоем тут и там заслоняли разметившие пейзаж пальмировые пальмы; Кришан смотрел на эти просторы, и его вдруг охватило странное чувство, будто ему больше некуда идти. Окинув взглядом и беззвучно горящий костер, и раскинувшиеся повсюду кусты ежевики, он гадал, что привело его в эти края, такие далекие от того мира, который он знал, какие силы его заставили бросить ту жизнь, которую он выстроил себе в Индии, и приехать сюда, в это место, где он толком никогда и не жил, в это место, которое, в сущности, не играло в его взрослой жизни никакой роли. Какие движенья судьбы, гадал Кришан, привели к тому, что он якобы случайно встретил Рани в отделении той больницы, к тому, что через

несколько месяцев она перебралась к ним домой, к тому, что два дня назад она скоропостижно скончалась и он приехал на похороны, не в силах избавиться от ощущения, что его присутствие в этом пустынном месте давным-давно предрешено, что задолго до конца войны его тянуло сюда какое-то чувство, и не угрызения совести, а нечто большее, нечто вроде свободы, пусть даже он толком не может сказать, что такое свобода. Правда, порой нетрудно понять, что определяет жизненный путь, — и обстоятельства рождения, и раса, и пол, и каста, все желания и стремления человека, нарративы, с которыми он себя отождествляет, но ведь тело наше скрывает траектории более глубокие, появление их зачастую неведомо или случайно, принципы их действия незримы, и порой траектории эти очень сильны, они подталкивают человека в том или ином направлении независимо от того, что происходит на поверхности его жизни. Такая-то траектория, приведенная в действия событиями, которым они были свидетелями, многие годы назад подтолкнула немало юношей и девушек вступать в ряды сепаратистов, такая-то траектория уже после войны привела к смерти, намеренной или случайной, и Рани, и многих ей подобных; такая-

то траектория, осознавал ныне Кришан, привела и его, пусть тихо и неприметно, на эту площадку на краю света. Его собственный жизненный путь определился, когда Кришан был намного моложе, пожалуй что вскоре после смерти его отца, хотя сейчас ему вспоминалась не столько гибель отца, сколько последние школьные месяцы через несколько лет после того: он долго, бесцельно ждал результатов экзаменов, бесконечные дни и недели полнились тоской по жизни, которую Кришан еще не мог облечь в слова и не знал, где искать. Перемирие нарушали, война на северо-востоке разгоралась с новой силой, и поэтому мать не отпускала их с братом одних из дома, она опасалась, что их остановят, допросят и заберут военные или полиция, она очень боялась, лишившись мужа, потерять еще и сыновей. Кришан маялся от безделья в четырех стенах их маленького дома и все чаще чувствовал себя в западне; тогда он этого не понимал, но, пожалуй, именно из-за этого ощущения западни, утраты свободы он в те месяцы подолгу просиживал на крыше дома, ночью забирался с балконных перил на пологую крышу и часами лежал там, пока мать, брат и бабка спали, слушал музыку, глазел на висевший вверху океан синевы, на прозрачное

серебро облаков — Кришану всегда казалось, будто они несут ему весть издалека, — и думал о том (наивно и трогательно, как все подростки), до чего мир большой и непознанный, сколько в нем есть всего.

Наверное, именно в те месяцы ожидания он впервые почувствовал пустоту в душе, тоску по жизни за пределами Коломбо и знакомой ему Шри-Ланки; эта пустота представлялась ему не столько пустотой, сколько желанием перебраться в другое место, эта пустота, как ни парадоксально, помогла ему более выпукло ощутить мир, более тонко прочувствовать его покровы, прихоти и структуры. Тогда он еще не догадывался, что может ему предложить жизнь, не знал, каково это — жить в другом месте, самому по себе, принимать решения, целоваться, влюбляться и заниматься сексом, где-то осесть или переезжать с места на место. Он еще не сталкивался с объектами своих желаний, будь то люди, обстоятельства или места, желания в ту пору были лишь мыслеобразами, абстрактными предметами, полными смысла, которого он не мог постичь, но неведомо почему наделял важностью эти вещи. В ту пору он чувствовал не столько желание, сколько тоску, ибо, хотя и желание, и тоска продиктованы

неполнотой и подразумевают сильную, порой непреодолимую потребность в чем-то, чего нет в нашей жизни, все же то, что принято называть желанием, всегда имеет конкретную цель, представление о том, чем можно заполнить пустоту; тот же, кем владеет тоска, чувствует пустоту, но не знает, чем ее заполнить. В некотором смысле тот, кто желает, знает, чего он хочет (или думает, что знает), знает (или думает, что знает), каким способом достичь желаемого, пусть даже способ этот чересчур труден, пусть даже то, чего удастся достичь, то есть предмет желания, не принесет вожделенной свободы. Тот, кто тоскует, потерян, сбился с пути, не знает, чего ищет и где это искать, и, не в силах отвлечься с помощью лихорадочной деятельности или упорных попыток от мучительного ощущения нужды, утешается только тем, что вглядывается в пространство, будто где-то на этих бескрайних просторах, в космосе, море, небе таится возможность, которая сделает жизнь самодовлеющей, избавит от нужды, возможность, которая положит конец времени. Повзрослев, Кришан осознал, что такой возможности не существует, но тоска подобного рода и привела его сюда, понял он, глядя на пламя, беззвучно горевшее в центре площадки, тоска подобного

рода водила его по многим путям и наконец привела сюда, к горящему телу Рани — той Рани, чье осязаемо мучительное стремление обладало и определенностью желания, и бесцельностью тоски, пониманием того, что именно ей нужно, и пониманием, что этого уже не достичь, — словно чтобы сказать ему: все попытки исцелиться от пустоты, положить ей конец рано или поздно приведут к смерти, к угасанию разума.

Сумерки сгущались; Кришан в последний раз взглянул от ограды на ослепительно-красный костер, тот уже горел целиком, и дрова, и гроб, и, скорее всего, лежавшее в нем тело — все ярко пылало в безжизненных серых сумерках. Кришан знал, что костер будет гореть долго, несколько часов, в человеческом теле заключено слишком много всего — не только кости, мясо и внутренности, но чувства и образы, воспоминания и надежды, пророчества и мечты, все это сгорит не скоро, обратится в утешительно-единообразный прах. Назавтра зять Рани заберет останки домой, а через месяц прах развеют над водоемом — может, над океаном на северном или восточном побережье, а может, даже над озером, которое они миновали по пути к месту сожжения, — в общем, в конце концов прах растворится в длин-

ном широком своде мира. В конце концов от тела Рани не останется ничего, в конце концов ничего не останется от того, что она думала, чувствовала, видела, слышала, хотя, глядя на то, как мерцает вдали костер, как стреляет искрами в пустоту, Кришан уже без особой печали думал о том, что тело Рани исчезнет, — то ли оттого, что уже не слышал треска пламени, то ли оттого, что наконец осознал: Рани покинула мир. Кришан наблюдал, как багровое пламя становится ярче в густеющей темноте, как воздух вокруг него искажается со странной ясностью от сильного жара, как материальность человеческой жизни превращается, подобно видению, галлюцинации, миражу, в клубы густого дыма, летящие к небу, редеющие в вышине и тающие в сумерках, — весть из этого мира в тот, которая никогда не будет получена.

Благодарности

Этот роман в большей степени, нежели первый, результат совместных усилий и обрел настоящую форму лишь благодаря великодушию многих: моего редактора П. Э. из издательства Hogarth и Л. Б. из издательства Granta; Дж. Б., Р. Р. и всех сотрудников Hogarth, моего агента Э. С. из ICM, моей сестры и первого читателя А. А., моего давнего наставника П. К., моих дорогих друзей А. Г., А. Т., Б. М., К. Э., Дж. К., Г. Б., Дж. Р., Л. С., М. Л., О. Н., С. К., Т. М., Т. Т. и В. С. Также благодарю литературный журнал *The Paris Review* за то, что осенью 2019 года в нем опубликовали фрагмент романа.

В тексте упоминается ряд произведений — литературные переводы, документальные фильмы: история Пусала из «Перия-пуранам» в первой главе основана на переводе с тамильского в книге Дэвида Шульмана «Воображая действительность» (“Imagining the Real”); поэму «Облако-вестник» из четвертой главы перевел с санскрита Джеймс Мэллинсон, «Жизнь Будды» (о ней речь в седьмой главе) перевел с санскрита Патрик Оливелл, историю смерти Куттимани, приведенную в седь-

мой главе, я почерпнул из книги Раджана Хула «Высокомерие власти: мифы, упадок и убийство» (“The Arrogance of Power: Myths, Decadence, and Murder”); документальный фильм, упомянутый в девятой главе, — «Моя дочь — террористка» (“My Daughter the Terrorist”) режиссера Беате Арнестад и продюсера Мортен Даае; сборник стихов буддисток, упомянутый в девятой главе, перевел с языка пали Чарльз Холлизи.

Эта книга — для моих матери и отца.

Об авторе

Анук Арудпрагасам родился на Шри-Ланке, в Коломбо. Изучал философию в Соединенных Штатах, защитил диссертацию в Колумбийском университете. Первый его роман, «История краткого брака» (“The Story of a Brief Marriage”), переведен на семь языков, получил премию индийской компании DSC за литературу стран Южной Азии и вошел в короткий список премии имени Дилана Томаса. В настоящее время писатель живет в Индии и на Шри-Ланке.

anukarud.com [empty link]